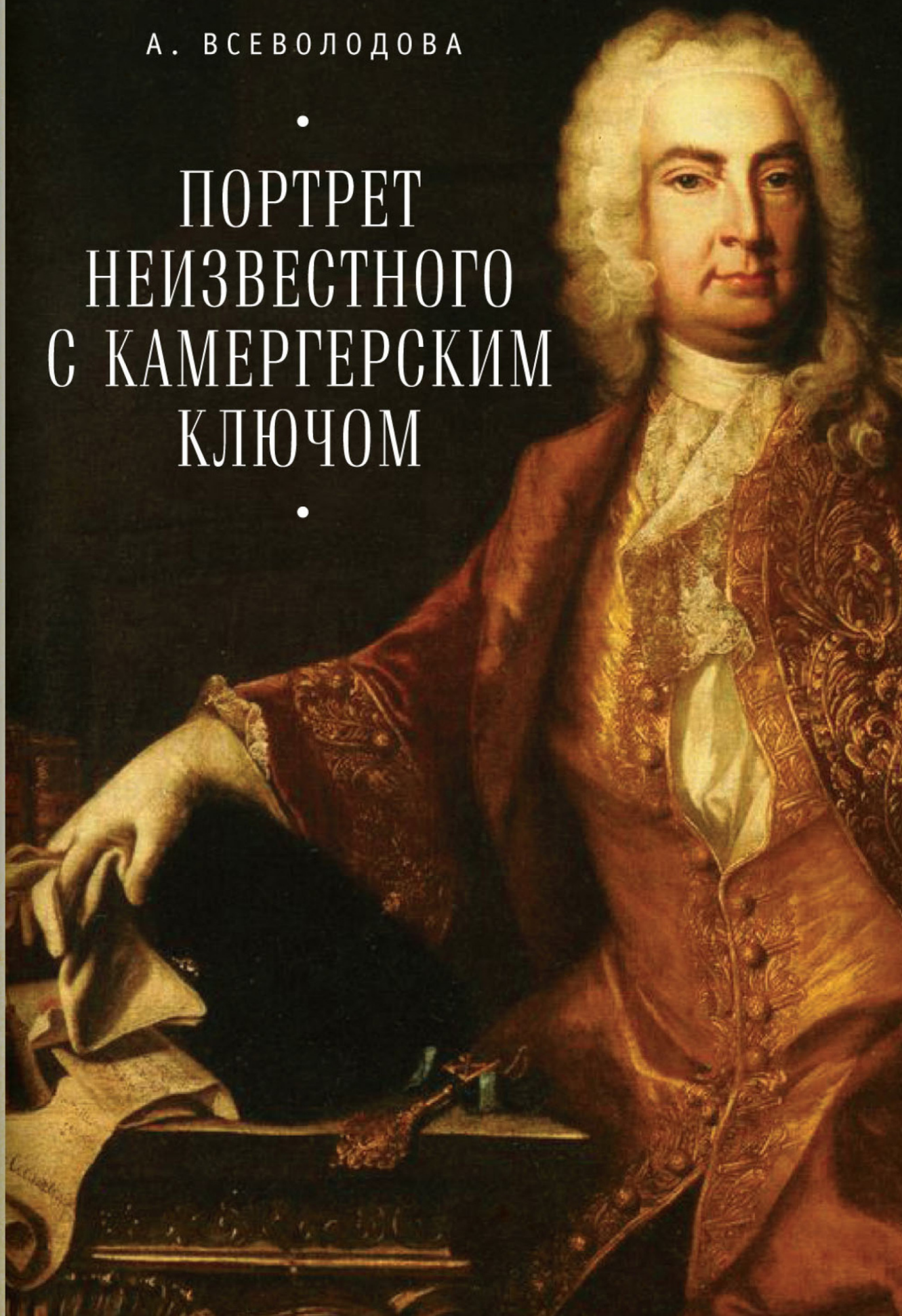


А. ВСЕВОЛОВА

•
ПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО
С КАМЕРГЕРСКИМ
КЛЮЧОМ
•



Анна Всеволодова

**Портрет неизвестного с
камергерским ключом**

«Алетейя»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Всеволодова А. В.

Портрет неизвестного с камергерским ключом /
А. В. Всеволодова — «Алетейя», 2018

ISBN 978-5-906980-71-7

«Поэзия останется всегда поэзией и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык», – писал А. С. Пушкин в письме к Лажечникову в 1835 году. Ошибся ли русский поэт? Или лучше – жив ли еще величайший по богатству образов, самобытности, выразительности язык – родной наш русский? Книги Всеволодовой – попытка заявить утвердительно: Россия, ее язык, ее герои, ее душа – бессмертны. Роман рассказывает о замечательной личности русского министра А. П. Волынского, намного опередившего свой век и поплатившегося за то головой. Некоторые из его государственных проектов воплощены такими известными отечественными просветителями, как Ломоносов и Шувалов, другие – пытался осуществить Столыпин, многие – не нашли своего исполнителя и по сию пору. В дни величайших национальных испытаний, на новом историческом перепутье, имя Волынского, «первого русского земца», как метко назвал министра Полежаев в книге «Волынской и Бирон. 150 лет назад. Исторический роман времен Анны Иоановны», всегда привлекало русскую общественность. Не случайно появление книги о нем и теперь. Автор постарался придать своим произведениям форму и жанр, характерный для сочинений XVIII столетия.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906980-71-7

© Всеволодова А. В., 2018

© Алтейя, 2018

Содержание

Часть I	7
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Анна Всеволодова

Портрет неизвестного с камергерским ключом

© А. Всеволодова, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

* * *

«По мне, душа моя и честь, милее, чем весь свет».
А. П. Вольнской

Часть I

Лет за тридцать до «французского года» в нескольких верстах к югу от Царицына на берегу реки, ещё можно было видеть ветхий деревянный дом, старость которого никто не хотел, или не имел средств покоить. Скоро он был сломан. В месте, на котором находился фундамент его, вырыт был грот, называвшийся «Le berceau de mon pere»¹, а кругом раскинулся парк, долженствующий обрамлять стены нового каменного жилья. Хозяин его, сын прежнего владельца усадьбы, капрала Фрола Кущина, павшего в битве при реке Ларге, любил прохаживаться тут, или делаться гостем грота, и, сиживая на мху, покрывающем каменные ступени его, уноситься мыслями Бог весть куда. Если бы мы могли заглянуть в них, то увидели бы ту же равнину и ту же реку, что и сейчас расстилаются перед его глазами, но заметенные снегом. Дремлющая в лучах февральского заката деревенька, дымится стелящимися по крышам клубами пара – дело к ростепели. Господский дом на взгорке ничем почти не отличен от изб, разве крыт затейливей. От него, по расчищенной от снега дорожке, идут двое – брат и сестра – Фрол и Наталия, или, как она прозывается между домашними, Налия, и даже еще проще – Налли.

Фрол глядится настоящим богатырем, высок, широк в кости, боек в лице и движениях. Если бы мог он поделиться с сестрой своей кипучей кровью, ярким румянцем и всею крепостью, он отдал бы ей часть сих достоинств, которых стало бы у него еще на десятерых. Но это невозможно, и несмотря на привязанность брата, Налли, хотя никто не мог отнять у неё право именоваться красавицей, с первых глаз кажется таковою только на морозе. В другое время лицо её бледно и ничуть не напоминает о Флоре.

Не личит оно также ни Венере, ни Психее, ибо для того в нём недостаёт девичьего лукавства, или невинного простодушия. Напротив, в свои осмнадцать лет, оно уже как будто несёт печать пережитого страдания, подвига, мрачной тайны. Или это только предчувствие их? Одно очевидно – никакою жительницей Олимпа не могла бы Налли представиться на маскараде, но в образе Лукреции, Юдифи или Орлеанской девы преуспела бы быть похваляемою. Хотя в лице её нет ничего мужественного, она весьма походит на отца своего. В бою под Данцигом в 1734 году, посреди дерзновенных подвигов своих, получил он русское дворянство и смертельную рану. Живым ещё, заботами своего денщика и, пленённого им француза де Форса, привезён был в родной дом, где скоро умер.

На руках вдовы – Елизаветы Алексеевны Кущиной – осталось двое детей и девять дворов, пожалованной деревеньки. Де Форс был оставлен в доме для обучения Фрола «всем наукам», и сперва очень тосковал по своему отечеству. Однако, когда ученику его сравнялось 16 лет (он был двумя годами младше сестры), и де Форсу представилась возможность покинуть семейство Кущиных, он выразил желание остаться на месте своём, говоря, что совесть не позволяет ему бросить неконченным труд.

Слова эти относились к успехам Фрола и были совершенно справедливы, ибо в отличии от своей сестры, он не проявлял «ко всем наукам» ни малейшего интереса. Повествования о сципионовых войнах, французской грамматике или действиях с дробями производили в нём равную неприязнь. Заметя, что сестра с любопытством, а иногда, и с увлечением, слушает де Форса, лукавый ученик убедил её исполнять за него всю письменную часть урока, с тем чтобы похвалиться им перед родительницей и избежать несносного труда. Молчание о сем обстоятельстве де Форса было куплено путем молений со стороны обоих его учеников, и кроме того, угрозой, со стороны Фрола, сделать жизнь учителя в доме несносною. Обязанность до самой старости подписываться «недорослем Кущиным» гораздо менее пугала Фрола, чем предстоящая служба, и он ежедневно клал по десять поклонов перед образом, моля провидение изба-

¹ Колыбель моего отца (*фр.*)

вить его одной бедой. Между тем, шаги её всё приближались, и нынешнюю весною положено было хлопотать перед старым начальником героя Кущина, о зачислении сына его, столь разнившегося с отцом в честолюбии, в полк.

Об этой то печальной перемене в судьбе их говорили брат с сестрой идя об руку к реке.

– Ужели расстанусь с тобою, Фрол? – говорила Налли, – как тягостны станут мне пустые твои комнаты и пустые мои дни. Одно станет утешением мне – ты вернёшься офицером со шпагою и, если Богу угодно будет, кавалером российского ордена.

– А меня так ничто утешить не может, как представлю вставание затемно, умывание из обледенелой кадушки, чечевичную кашу да муштру.

– Фрол, подумай, ты получишь прекрасный мундир, парик, пудру для него, белила для лица, кожаный чёрный шнурок для косы! Быть может для иных всё это и безделица, но при наших средствах – уже щегольство!

– Ах, Налли, ты говоришь, как девица!

– Но, милый Фрол, я и есть всего только девица.

– Для того-то соображения о щегольских нарядах кажутся превосходными тебе одной, а мне – не в малой степени. Но вернёмся домой, ты верно успела озябнуть, а воздух становится сырым.

– Ещё немного, Фрол. Мы почти вышли к реке, дай я погляжу не неё. Быть может уже скоро она утратит всю свою красоту, почернеет и растрескается.

Они сделали ещё несколько шагов и очутились над прекрасною, залитою последними красными лучами солнца и занесённую снегом, сверкающей гладью. Лес, стоящий вдалеке на противоположном берегу, совершенно погрузился уже во мрак и кидал на угасающую равнину фантастическую тень. Грань между умиравшим днём и длиною зимнею ночью наполняла живое воображение Налли необыкновенным волнением.

– Смотри Фрол, – говорила она, указывая на тающее пространство света над лежащим за рекою полем, – кажется на нас опускается длань Юпитера или покрывает крыло Феникса. Нам уже не выйти из мрака такими как мы ступили под него. Каждый, вдохнувший его, очарован будет и забудет всё, что окружало его прежде, всё что привык считать родным и любезным.

– Коли была б у нас заведена псарня, я бы бил на этом поле русаков, – отвечал ей брат, – идём домой Налли.

– Ещё мгновение, – просила она, – сейчас угаснет последний луч, и прозвучит голос «кто вы, дерзающие видеть величие лица моего?»

Ответом ей был отдаленный шум, который, разносясь над безмолвной рекой, всё приближался, пока наконец не показался несущийся длинный поезд. Впереди виднелись силуэты всадников, за ними четверка коней влекла возок, далее следовали несколько саней с поклажей, двое верховых замыкали весь поезд.

– Знатные кони, – сказал Фрол, провожая глазами первых всадников.

В то же мгновение послышался треск, лёд проломился и возок оказался до половины погружён в крошащиеся круг него плиты. Черная вода залила края полыньи.

– Фрол, – вскричала Налли, – они погибнут! Что делать нам?

Голос её потонул в крике, поднятом людьми на реке. Кони, счастливо успевшие ступить на прочный лёд, не давали возку погрузиться в воду, тщась вытащить его за собой. Люди суетились кругом, помогая им.

– Руби ремни, пожитки – под лёд! – приказал один из них, по-видимому старший над остальными. Несколькими ударами сундуки, занимавшие назади возка место фореиторов, отделены были он него и с тяжелым всплеском ушли в воду. Кони тотчас вынесли возок на твёрдое место, люди распахнули дверцы его, и из них с плачем показалась отроковица, укутанная в шубу с капюшоном.

– Полно, Машенька, – сказал ей, выбираясь следом, статный человек в парике вместо шляпы, лица которого, как и лица Машеньки за опустившейся темнотою Налли и Фрол не могли разглядеть, – посмотри на сестру. Ведь она такая же девица, как и ты, но не плачет.

– Батюшка, Анна не девица вовсе, а такой же генерал, как и вы, – отвечала Машенька.

Генерал-девица рассмеялась, показывая, что ей приятно это замечание.

– Петенька, сердце мое, что с тобою? – воскликнул их отец, сжимая в объятьях мальчика годов девяти на вид, который, кажется, более прочих путешественников пострадал от несчастного происшествия.

Тот ни слова не отвечал, и если бы генерал не схватил его на руки, верно упал бы на лёд, лишившись чувств.

– Родионов, долго мне ждать огня?! – крикнул отец отрока, – где жаровня?!

– Ваше превосходительство, жаровня была связана с погребцом и теперь на дне сей реки, – отвечала высокая худая фигура, лиц уже совершенно разглядеть нельзя было.

– Я не повезу детей в обледенелом возке, – воскликнул генерал, – разведать жильё поблизости, а пока – на берег всё что может гореть.

– Я побегу домой предупредить, а ты – проводи их, – шепнула Налли брату и бросилась по тропинке от реки. Необычайный прилив сил заставил пробежать расстояние, отделявшее её от дома, гораздо скорее, чем могла она ожидать от себя. В то же время, во всем существе своем, она чувствовала наступление небывалой тишины. Она удивлялась этому странному ощущению, несхожему ни с чем, испытанным прежде, и не знала к чему отнести его – очарованию заката или испуге за жизни путешественников.

Дома уже собирались ложиться и не сразу взяли в толк, из обрывочных её речей, в чём состоит дело. Когда пострадавшее семейство вошло в горницу, скупо освещенную двумя свечами, лежанка только начинала нагреваться, а самовар – закипать.

Родионов снял с вошедших шубы и Налли, глядевшая на них из боковушки Фрола, зажмурилась от блеска штофных и парчовых платьев. Вокруг дочерей генерала хлопотали их девушки, предлагая горячее молоко с пшеничным хлебом, в то время как сам он, посадив сына на лежанку, с тревогой вглядывался в побледневшие черты его. Они в точности повторяли отменную красоту лица родителя, но, если у последнего она непрестанно оживлялась бодрым и кипучим движением натуры, у первого будто оставалась затуманенной выражением печальной терпеливости.

– Не хочешь ли чего-нибудь откусать, друг мой?

– Нет, батюшка.

Но отец, видимо, ожидал подобного ответа и не хотел брать его в расчёт.

– Родионов, – крикнул он в сени, – ты здесь?

Родионов явился.

– Что у нас осталось для Петра Артемьича? Ужели всё потонуло с погребцом?

– Потонуло, ваше превосходительство. Но я распорядился, и хозяйка сейчас принесёт, что успела собрать к ужину.

– А жир барсучий, чтоб Петра Артемьича растирать, спрашивал?

– Простите, запомятовал.

– Если б знал каково иметь сына, так не запомятовал бы! Коли заболēju или умру, так и ему, несчастному, в гроб ложиться?! Никакого попечения ни в ком найти нельзя.

В это время Елизавета Алексеевна, с подносом, украшенном тарелкою с дымящейся ещё репою и яичницей, явилась позади Налли.

– Матушка, позвольте мне, – прошептала она и, выхватив поднос, предстала перед Петром Артемьевичем. Тот с недоумением поглядел в блюдо.

– Батюшка, это артишоки? – спросил он, нерешительно берясь за вилку и пробуя кушанье.

Заметно было, что проглотить его стоило отроку некоторого усилия, он положил вилку обратно.

– Батюшка, я сыт, позвольте мне спать ложиться.

– Родионов, неси постелю Петра Артемьевича.

Родионов вышел. Налли продолжала стоять перед гостями, не замечавшими её. Ей хотелось заговорить, она составляла в уме своём французские и русские фразы, одну любезней и остроумней другой, и каждая казалась ей неудачною.

– Благодарю, любезная девица, – проговорил генерал, поглядев в её сторону с тем выражением, с каким обычно мы смотрим на случайного прохожего, с которым желаем поскорее разойтись на узкой дороге и который при нашем намерении сделать ему путь свободным, совершает неловкое движение в ту же сторону и не пускает нас.

Налли присела, досадуя на уроки де Форса, нисколько не сделавшие её искусною в этом умении, и выйдя из горницы, нашла его сразу за дверью. Глаза их встретились.

– Вы думаете, сударь, мне не мудрено, опасность, в глазах моих бывшую, ни во что вменить? – проговорила Налли, хотя де Форс не сделал никакого замечания или вопроса, – может для вас недовольно стать свидетелем гибели человеческой, чтобы быть взволновану, ибо вы солдат. Но я впервые сегодня едва избежала горестной сей картины и не могла остаться совершенно невозмутимою.

На том день кончился, если не считать того, что Налли бегала в людскую и на конюшню, где успела разузнать, что гость их – казанский губернатор Волынской, ехавший в столицу к новой должности. Ей непременно хотелось заговорить с ним, и она во всю ночь занята была придумыванием слов к тому пригодных, заснув только перед рассветом. На утро Налли пришлось убедиться в бесплодности своего ночного труда – губернатор с людьми своими покинул их затемно, напуганный жаром, приключившемся с сыном и не отважившийся задерживаться вдали от врачебной помощи.

– До Москвы тридцати вёрст не будет, – говорил Фрол, – нынче же до лекарей доберутся. Ты бы видела, сестрица, что во всю ночь люди с возком делали. Сушили и огнём, и сеном, а потом вместо жаровни положили в него раскалённых каменьев. Губернатор прегордый – не с кем не хотел слова сказать. Матушке на прощанье и головой не кивнул. Человек его сунул мне два рубля – и вся честь.

– Что значит «моменто мори»? – перебила его Налли.

– Об этом у де Форса наведайся, а что в том за нужда?

– А видел на руке его золотой перстень? По нему чёрной финифтью писано «моменто мори». Латинская литера.

С того дня Налли открыла в себе действие жизни новой, отличавшейся от прежней так же, как ярко залитый полуденным солнцем величественный пейзаж, отличается от его слабого отображения, сделанного на холсте. Сила этой новой жизни была столь значительна и достоверна, что всё прежнее казалось теперь вовсе не сущим. Позабыты радости, горести, привязанности, все обстоятельства, как если бы они никогда не имели к ней отношения. Нет более прежней Налли, на место ее – иная, вызванная к жизни казанским губернатором. Он один наполняет ей весь зримый мир, и – больше его. Обладая от природы мечтательной душой, Налли не раз увлекалась теми, с кем провидению угодно было предоставить ей повстречаться: кузеном Арсением, несколько раз в году посещавшим их, диаконом сельской церкви, поразившем её красотой голоса и косы, виденным однажды гардемарином, гостившим у соседа, так что, в свои осмнадцать лет, имела некоторое представление о сердечных тайнах. В них приходилось ей неоднократно признаваться на духу, ибо главное их содержание состояло в тщеславной приятности покорять взоры и сердца. Первое и главное отличие новой любви от прежних заключалось в том, что она не имела решительно ничего пригодного к покаянию. Если бы Налли постаралась определить своё чувство при помощи слов человеческих, то она назвала бы

его жадной блага для своего предмета. Мысль о нём навсегда соединилась в душе её с молением о его временном и вечном блаженстве, славе и чести, об избежание малейшей скорби, о счастье всех любезных его сердцу. Никогда какие-либо притязания на ответное чувство не волновали её души, она ничего не искала. Хотя любовь эта наполняла непрестанно душу Налли радостью, она часто плакала. Слезы эти были того рода, которые появляются на глазах наших при слышании о благороднейших подвигах древних героев или звуках прекраснейшей музыки. Однако, став из редких гостей завсегдатаями, они быстро истончают материю земной натуры. Потеряв интерес ко всякой деятельности, и только в молитве находя возможность быть полезной Волынскому, Налли часы проводила перед киотом.

Разумеется, такое состояние единственной дочери не могло не пугать Елизавету Алексеевну, и она обратилась к доктору. Последний нашёл у Налли начинающуюся чахотку и посоветовал смену обстановки. Де Форс плакал, Фрол заявил, что от сестрицы никуда не поедет, покуда она не станет совершенно здоровою, девичья (состоявшая, впрочем, из трёх персон) оплакивала потихоньку чахоточную барышню, когда случилось происшествие, решительно изменившее весь ход событий.

Дело происходило за завтраком. Де Форс читал вслух номер «Придворного календаря» и коснулся опубликованного перечня чиновников (или как по-старинке называла их Елизавета Алексеевна – стряпчих) представленных к наградам. Некоторый же, особенно удачливый, был из секретарей какого-то губернатора пожалован прямо в камергеры.

– Вот бы нашему Фролу такая фортуна! – воскликнула вдруг Налли. Хотя все сидящие за столом, и более других сам Фрол, знали о том, сколь мало он подаёт надежд к подобной «фортуне», никто не только ни слова не возразил, но приметя, необычайное для последнего времени волнение в голосе Налли, тотчас подхватили её мысль.

– Certes. Sans doute, cela serait ainsi!² — вскричал де Форс.

– Ты всегда угадаешь, Налли, – подтвердила Елизавета Алексеевна.

– Твоими бы устами, да мёд пить, – заметил Фрол.

Налли едва дождавшись окончания чаепития, схватила брата за руку и утащила в свою светлицу.

– Фролушка, хочешь в службу не идти? – вкрадчиво спросила она, затворив двери.

– Вестимо хочу, только как не идти?

– Позволь мне вместе тебя.

– Тебе? – как Фрол не стремился не перечить больной сестрице, он не сдержался и фыркнул, – солдатом, как на святках, обрядишься?

Налли рассмеялась.

– Какой из меня солдат, братец? А слышал ли нынче про секретаря? Найду себе патрона в столице. Ты, Фролушка, сегодня же маменьке объяви, что едешь в Петербург искать патрона и идёшь к нему секретарём, а меня берёшь с собою, не то, в углу сидя, и впрямь чахотка пристанет. А там обряжусь кавалером и явлюсь Фролом Александровичем Кушиным, ведь и паспорт в исправности. Буду жалованье получать, а ты станешь его тратить и веселиться. Согласись, любезный братец!

В те годы подобные честолюбивые предприятия были не в новинку. Не окончивший обучение студент Эрнест Иоганн после нескольких неудачных попыток обрести патрона, нашёл в графе Бестужева исполнение своих стремлений, и дорогу к русскому двору и герцогству Курляндскому. В дома вельмож представлялись молодые и не слишком люди, рекомендуя себя в клиенты. Нередко они оставались на тот или другой срок при патроне, а иногда входили в силу. Сотни юношей мечтали сократить путь свой по табелю рангов.

² Точно. Без сомнения так и будет! (фр.)

План Налли угадать не хитро. Ум девицы, когда бывает подстрекаем желанием сердца, храбрее гвардейца, только получившего шпагу, острее её. На проказы Фрола уговаривать долго не приходилось и ради избежания проклятой должности он скоро на всё согласился. Тем же днём они решительно приступили к Елизавете Алексеевне. Та поначалу пугалась мысли отпустить Налли, но Фрол наотрез отказался с нею расстаться и напомнил о рекомендованной «смене обстановки». Налли плакала, становилась на колени, а когда это не помогло, и Елизавета Алексеевна хотела было окончить разговор тем, что «подумает», объявила, что умрёт прежде, чем «маменька додумать успеет». Елизавета Алексеевна также расплакалась, сняла со стены образ и благословила в «путешествие» обоих детей своих.

– Вели, сын, и де Форсу собираться – на что он мне одной, только лишний рот, а для сестрицы кого же снарядить? Лукерья уж больно стара, хоть в няньках жила и Налли к ней привычна. Разве Фёклу?

– Воля ваша, матушка, а Фёклу не возьму – всего одна у вас. И зачем мне девица? Сызмальства сама, как люди говорят «обиваю вокруг себя росу», – возразила Налли.

– Не придумаю, как же теперь с письмом к Кириллу Филипповичу – начальнику батюшкину быть?

– Я, матушка, теперь чувствую такое расположение, что иначе как в секретарях служить не могу. А Кириллу Филипповичу только удовольствие сделаете, коли хлопотать обо мне не требуется.

– Климат в столице дурён – большего вреда Налли не сделал бы.

– Будет вам, матушка. Из чего эти ваши страхи? – отвечал Фрол и условившись писать всякую неделю, положили собираться в дорогу.

При иных обстоятельствах, Налли поражена была бы разлукою с родным жильём и матерью. Теперь, совершенно пленённая любезным образом Волынского, нисколько не растрогалась предстоящею переменой, и с плохо скрываемым нетерпением, следила за приближением её. Елизавета Алексеевна не могла о том не досадовать, втайне горюя о потере обоих детей для семейного очага. Налли видела грусть матери, желала разделить её с ней, и не могла. Вся душа её охвачена была упоением от одной мысли снова увидеть мимолётного их гостя.

Наконец отслужен был молебен, кибитка уложена. Де Форс сел за кучера.

– Береги сестрицу, Фролушка – одна она у тебя, – со слезами просила Елизавета Алексеевна, крестя Налли, – Сам служи хорошенько, как твой батюшка покойный служил.

– Не печальтесь, матушка, – отвечал тот, – ещё много довольны останетесь моей службою.

– Матушка, благословите меня снова, – просила Налли, целуя крестящую её руку.

Последние объятия, и кибитка тронулась.

Молодая трава там и тут пробивалась из земли. Дорога, не совершенно ещё сухая, уже не столько была трудна, и не много грязных комьев налепляла на вертевшиися колёса.

– Смотри, братец, – крикнула Налли, указывая на жаворонка, дрожавшего высоко в небе.

Вот скрылась из виду знакомая деревенька, река, роца. Дорога пошла под изволок. Фрол и Налли спрыгнули на землю, де Форс последовал их примеру. Как ни мало желала того Налли, чтобы заручиться необходимой поддержкой своих спутников, она должна была приоткрыть отчасти свою тайну, объявив, что намерена искать патрона только в Волынском. Как она того и ждала новость эта произвела на них впечатление совершенно различное. Фрол от души смеялся, забавляясь мыслью о предстоящем машкараде. Де Форс, напротив, видел во всём одну угрозу её благополучию, которому в опасности оказаться должно, едва Налли решится переступить порог дома Волынского.

– Знаете ли, сударыня, каков конец может произойти сему делу? – воскликнул де Форс, в страшной горести, исчерпав все другие доводы против плана Налли, – патрон проникнет в тайну вашу, а потом, наградив серьгами в двадцать рублей, выпроводит вон со словами «бла-

годарю, любезная девица», как он уже поступил, напутствуя ваши заботы о том, чтоб сын его отведал репы.

– Твои мысли достойны Селадона³, – отвечала Налли с презрением.

– Что ты врешь? – кинулся Фрол на француза, более всего опасаясь, чтобы Налли не передумала избавить его от службы, – секретарям серёг не дарят. Ничего не видя, уже ты кар-каешь.

– Сударь, покой Натальи Александровны в моих глазах превосходит вашу благосклонность, – отвечал ему спокойно де Форс, – и я не перестану об нём заботиться из боязни потерять в глазах ваших.

– Не ссорьтесь, прошу вас, – воскликнула Налли, – Де Форс, если мой план не находит у вас одобрения, я не принуждаю вас помогать в нём. Коли угодно, вы можете нас покинуть и распорядитесь своей свободой по вашему вкусу.

– Скатертью дорожка! – подтвердил Фрол.

Де Форс кусал губы и молчал. Заметно было, что тревога его нисколько не улеглась, когда он с принуждённым хладнокровием отвечал:

– Остаюсь, и надеюсь быть вам полезен. Простите, сударыня, если желание уберечь покой ваш, сорвало с моего языка замечание, вас огорчившее.

– Бог да простит, любезный де Форс.

Спустя две недели Елизавета Алексеевна читала первое писанное из столицы письмо.

«Здравствуйте, государыня матушка, молитвами вашими путешествие наше счастливо совершилось.

В Петербурге вначале пристали было в трактире, но скоро Фрол обрел себе патроном обер-егермейстера генерал-аншефа Волынского Артемия Петровича, в доме которого секретарём ныне служит. Потому мы перебрались ближе к реке Мойке, на которой двор Волынского стоит и теперь живём в комнатах господина Головищева, купца второй гильдии, что имеет в столице свой собственный дом и два других для сдачи в наём.

Я, молитвами вашими, пользуюсь здравием и приятным расположением духа.

Всё здесь полно привлекательности и, как мне кажется, может развеселить не только больного, но и уже умершего. Именно, что особенно глаз и сердце веселит – дороги везде посыпаны щебнем, выложены досками или камнем, весьма чисты и ровны, так что при езде в экипаже, можно вообразить себя движущейся в креслах по комнатам. Дворы большею частью опрятны, мощены толченым кирпичом и имеют полезным украшением яблоневые деревья. Впрочем, плоды их, благодаря сырому лету и суровой зиме плохо вызревают и кислы на вкус. В городе имеются несколько великолепных парков, служащих рамою роскошным дворцам. Как правило от входа в последние по парку расходятся дорожки или каналы, лучевидно его разрезающие и окруженные изваяниями кумиров. Бывает Фрол по поручениям от генерал-аншефа и на другой стороне реки, за чертою города, где расположены партикулярные верфи, воскобелильный, солодовый, пивоваренный, кожаный заводы. А также слободы: канцелярская от строений, бочарная, гоф-интендантская, казармы батальона строений и некоторых полков. Рядом с ними находится близ церкви во имя Святого Сампсона Странноприимца большое кладбище. Тут император Пётр Великий позволил хоронить без всякой за то платы люд всех сословий, потому бедный деревянный крест соседствует часто с мраморными урнами, окруженными изваяниями небесных сил, имеющих в руках своих оливковые и лавровые венки и опущенные факелы. Часть кладбища отведена для захоронения лютеран и католиков и названа «немецкою». Не знаю отчего я полюбила бродить на этом месте, впрочем, совсем непечальном, но полном покоя и приятности. Возможно, причиною тому служит нынешняя

³ Селадон – волокита из французских романов XVII века.

весна, наполняющая воздух ароматом цветущих деревьев, которые посажены здесь повсюду. Я хотела бы когда-нибудь очень нескоро упокоиться тут.

Самой блистательной и прекрасной жемчужиной столицы бесспорно является так называемая I-ая линия (надо добавить, что план города подразумевает деление его на проспекты или линии). Она идёт сразу по берегу Невы и строительство в ней самое дорогое и почётное. Чтобы дать вам должное понятие о стоимости возводящихся в ней дворцов, скажу, что патрон Фрола, получивший в качестве высочайшей милости, право ставить в первой линии дом свой, не знал, как от неё отговориться, потому что и нынешний его дом на Мойке вводит его в долги. «Волынский двор», как прозывают в народе участок земли, подаренный государыней Артемью Петровичу, очень велик и утопает в зарослях черемухи и акаций. Нанятые к тому садовники трудятся, чтоб превратить в регулярный парк ту часть участка, что обрамляет фасад дома, выходящий на реку. Что же касается вида из окон, смотрящих в сад с другой стороны, то он, сообразуясь со вкусом хозяина более нежели моды, по-прежнему верен натуре, не родящей на нашей болотистой почве гротов, и не вырезывающей из деревьев пирамид, шаров и ваз. Вообще, о всём что касается до архитектуры столицы могу оповещать вас каждою почтою, ибо генеральный директор застройки города господин Еропкин, ближайший человек Артемия Петровича и без позволения его никакие планы других архитекторов утверждены быть не могут. Кроме гоф-интенданта господина Еропкина, Фрол часто видит в доме другого вельможу – Татищева, который пожалован государыней, если не обмолвлюсь, камергером. Кроме него бывает здесь горный инженер Хруцов. Последний любит говорить с господином Еропкиным о его занятиях, например, о четырёх книгах Андреа Палладио об архитектуре, которые Еропкин перевёл на русский язык и составил обширные к ним комментарии. Кажется, господин Хруцов тоже несколько знаком с наукою о строениях, потому что вместе с Еропкиным и архитектором Земцовым, обсуждал созданную ими инструкцию «Должность архитектурной экспедиции». Фрол слишком мало может понять всё значение сего труда, но всё-таки достаточно рассудлив, чтобы сообщить вам, что сия книга есть первая в нашем отечестве регула, столь обширная и полная, имеющая разъяснить все особенности искусства строений и превосходящая труды многих итальянских мастеров.

За сим с горячею любовью кланяюсь вам, государыня матушка, прошу ваших молитв о нас, и льюущуся желанием со следующей почтою известить вас о службе Фрола, о которой пока сообщить не имею более, как только что господин Волынской положил ему 30 рублей жалования.

Покорная ваша дочь, Налли».

Читатель спросит каким образом сердечное желание Налли исполнилось. Всё событие произошло следующим порядком.

Первым делом, по приезде в столицу, Налли послала Фрола разведывать, где искать дом Волынского, а де Форса – позаботиться о том, чтобы предстать перед генералом в должном виде. О том, чтобы перешивать для себя платье Фрола Налли и слышать не хотела и велела изрядную часть денег, находящихся в их руках, употребить на лучшее платье. Таким образом, де Форс принужден был привести в трактир портного – своего соотечественника и объявить ему, что для предстоящего маскарада Налли требуется мужское платье. Маскарады с подобными метаморфозами только входили тогда в моду при дворе цесаревны Елисаветы и портной при виде незначительности своих клиентов немало был удивлен заказом.

– В случай попали, сударыня? – не удержался спросить он, делая обмеры, крутя Налли так, сяк и записывая свои расчёты.

– *Mêle toi de tes affaires*⁴, – отвечал де Форс.

⁴ Знай своё дело (фр.)

– О! – сказал француз и не решился более предлагать вопросов, рассудив, что Налли приглашена к маскараду лейб-медиком цесаревны Лестоком, пользовавшимся известностью искусного хирурга и покровителя некоторых прекрасных девиц.

Результат трудов портного поразил как мастера, так и клиента. Мужской наряд превращал достоинства наружности Налли в исключительные.

Всё, что в облике её внушало, так не личащие девичьей юности, представление о подвиге или катастрофе, обратилось в тонкое благородное чувство, какое редко бывает разлито по лицу даже самого прекрасного юноши и нераздельно сливается с убеждением в его высоких нравственных достоинствах и чести. В то же время, девичий овал лица, глаза, умеющие выражать не только добродетели гражданские, но и куда более нежные чувства, изящные линии лба и носа, придавали новому облику Налли что-то лёгкое, и вызывающее ту улыбку, какую мы награждаем прекрасное и счастливое дитя.

Де Форс и Фрол, впервые увидавши сию метаморфозу, не сразу смогли найти слов, чтоб выразить мнение своё, но их потрясение и восторженные взгляды не оставляли никаких сомнений.

– И король Франции не откажет вам, сударь, если вы только пожелаете стать украшением Версаля и его обер-камергером, – воскликнул де Форс.

В ответ Налли раскланялась, вызвав новый взрыв восторга в обоих зрителях.

Конечно, в новом облике Налли имелись некоторые недостатки, ибо хотя о стройности стана и лёгкости походки и говорить не приходилось, грудная клетка её и плечи были слишком узки, а руки и ноги – слишком хрупки и малы, но как это всегда бывает при редкой красоте, даже недостатки мнимого юноши казались его милыми особенностями, придающими очарование ему одному свойственное.

Кроме того, мужское платье и имя Фрола Кущина освободило Налли от страха какой-нибудь неловкостью создать невыгодное о себе мнение. Она играла роль, видела, что роли не испортит и оттого на все её действия лег отпечаток изящной ловкости.

Однако, впервые оказавшись перед домом на Мойке, на который указал ей Фрол, Налли снова ощутила, как робость накладывает жёсткую узду свою не только на шаги её, даже на мысли. Здесь все – благо и несчастье ее жизни, сердце, мысли, все существо. Успеет ли снискать блаженство тут остаться?

Слух и сердце следят все звуки раздающиеся кругом – не услышат ли его голоса, глаза – все предметы, самые следы на земле – не его ли, еще горячие?

Что говорить, с кем, в каких выражениях заключить свое намерение, как держать себя, чтоб не сделать промаха и не получить отказа? Налли трепетала одной мысли быть изгнанной из воображаемого рая. Шепча молитву, она вошла на двор, но вид замкнутых парадных дверей с лакеями, при них стоявшими, смутил Налли, и она, поворотила от них вправо к конюшне. Каков уготован конец сему пути? Она все шла, сама не зная, что станет отвечать, если её остановят. Перед собой она заметила двоих людей в одном из которых признала Родионова.

– Пётр Васильевич пишет, что по осмотру его рожь не надёжна и на сев занять требуется, если нам не у кого займы брать окажется, то не прикажете ли докупить сколько потребно станет? – говорил незнакомец.

– Прежде того, как Яков Кашинцев всего не осмотрит, отнюдь денег не выдам, и в том стою, что скудость и недород Петром Васильевичем много прикрашены, впрочем, не по какому умыслу как от усердия к избытку поселян другого лета, когда убираться станут.

– Так что отписать Петру Васильевичу прикажете?

– Отпиши, что хозяин посылает ему в помощь Якова Кашинцева, только смотри чтоб не в гнев управляющему писано было, будто ему в недоверие, – отвечал Родионов.

При этих словах собеседники заметили Налли и оборотились к ней. Не имея возможности в первую свою встречу хорошенько разглядеть Родионова, Налли приятно поражена была

благообразием мужественного лица и выражением торжественной строгости в умных, серых глазах его. Сухая высокая фигура Родионова уже несколько согнута была годами и облачена в английского сукна чёрный кафтан. Внезапно поддавшись своей симпатии, Налли решилась обратиться к Родионову.

– Позвольте, сударь, назвать вам свое имя и причину, по которой имею удовольствие вас приветствовать, – проговорила она с поклоном.

– Сделайте приятность, – с удивлением отвечал Родионов, отдавая ей поклон.

– Я называюсь Фрол Кушин и с тем прибыл сюда, чтобы искать места в канцелярии его превосходительства генерал-аншефа Волынского.

– Вы напрасно трудились прибыть к нам, юноша, ибо у господина Волынского имеется три секретаря. Ещё один взят не далее месяца назад, и того вполне довольно.

– Что вы, сударь, – с горячностью возразила Налли, – разве лыщусь я служить секретарем его превосходительству? Я только ласкаюсь исхлопотать себе место младшего канцеляриста, готов служить не секретарем, но секретарям.

– Готовность, сударь, совершенно излишняя.

– Быть может, вам небезполезны будут французские переводы? Не хочу хвалить себя сам, но я составляю их изрядно и скор в сём деле.

Не громовая стрела, крошачья твердыни, блещет в глазах Налли – сопровождаемый двумя спутниками, из конюшни выходит Волынской. Налли следит шагами его. Ах, он прекрасней, чем показался ей в первый раз! Что за взор – разве орел может кинуть такой окрест себя! Какой чудный огонь мерцает в очах – словно в сокровенном святилище. Точно драгоценным покровом над ним – соболиные брови.

Темные волосы собраны все назад, перевязаны атласной лентой. Каким статным, высоким молодцом он глядится! Как личит ему тонкая голландская рубашка с батистовыми манжетами, нескрытый кафтаном, камелотовый камзол. Точно ли обращались к нему, бывшие при нем девицы «батюшка»? Пригоднее было бы сказать «братец».

Волынской повернулся к Налли спиной, остановился и принялся что-то выговаривать своим спутникам. Налли не сводит глаз с него, старается сообразить свои действия. Куда там! Она забыла прошедшее, не помнит настоящего, не понимает Родионова, который уже вторично напоминает ей, что «ежели другого никакого дела нет, то он не хочет чинить любезному посетителю задержки».

«Господи, Ты ведаешь моё сердце – в нем нет ничего противного Тебе. Если я не нужна ему, пусть меня выгонят, но, если я могу быть полезна, позволь мне остаться» – молила Налли. Волынской, почувствовав на себе её взгляд, оборотился и тотчас, оставив людей своих, приблизился.

– Ласкаюсь видеть в вас резонабельность, сударь, несмотря на оказанный вам приём, – начал он, метнув недовольный взгляд Родионову, – который, конечно, мог быть учтивее для посланца матушки-царевны. Я ждал вестей от лейб-медика и, признаться, его самого. Но раз господин Лесток за обилием дел важнейших, манкирует посещением старых друзей своих, что ж, я рад и его. . . . – Волынской сделал паузу, глядя на Налли вопросительно и видимо ожидая услышать чин и имя своего посетителя.

– Артемий Петрович, это не от Лестока, но случайный человек, – начал было Родионов, но Налли, подобно отроку ищущему золотых шпор, преклоняет колено:

– *Votre Majesté. Acceptez le service l'indigne de ce chevalier et ne le laissez pas périr en deprivation d'accomplir celui-ci*⁵.

⁵ Ваше величество. Недостойный быть вашим рыцарем, просит посвящения в оные, дабы ему не погибнуть в отчаинье (фр.).

Родионов фыркнул, не хуже лошади, но в лице хозяина его Налли не заметила никакой насмешки. Ах, за один этот благосклонный взгляд она с восторгом отдаст годы жизни!

– Как ваше имя? – спросил он по-русски, ибо хотя уловил общий смысл речи Налли, не столько владел французским языком, чтоб отвечать на нём, – и как имя патрона, которого вы намереваетесь оставить?

– Сир, – отвечала Налли, повинувшись знаку подняться, – Я молю провидение о том, чтобы вы стали моим патроном, ибо я недавно именно с тем приехал из провинции, чтобы найти себе патрона.

– Из провинции? Из какой? Из Лангедока, должно быть? – усмехнулся Волынской.

– Из-под Царицына, недоросль Фрол Кущин. Вот мой паспорт.

– Скажи мне, Фрол Кущин, – раздумчиво произнес Волынской, разглядывая бумаги, поданные Налли, – отчего ты явился именно ко мне? Могу предположить, ты мог бы при малом дворе Елисаветинском протекции искать, ибо столько уже походишь на пажа, что был нынче мною за одного из них принят.

– Сир, во всех столицах есть только один патрон – вы, и только один двор – ваш.

Родионов переступил с ноги на ногу, хотел что-то сказать, но смолчал.

– Жалования в размере какого, быть может, ожидаешь, я платить не могу.

Налли теряет голову от сознания, что Волынской ее не прогоняет. Так паж, восхищенный блеском лат, лица, имени своего господина ищет сразиться и погибнуть в глазах его. Он рожден на то, иного не знает и не желает. Если б только мог, положил к ногам его все царства мира. Налли хочет объявить, что согласна служить вовсе без жалования и вызвать тем подозрения в каком-нибудь зловредном умысле, но к счастью, перебита.

– Называй меня Артемий Петрович, и ответь не встречал ли я тебя прежде. Бывал ты в Казани?

– Не бывал, Артемий Петрович.

– Это странно, ибо прежде моего прибытия в Казань, я не мог тебя запомнить – ты был тогда ещё отроком, – проговорил Волынской и задумался, пытаясь отыскать в памяти затерянный образ.

Налли, желая и не решаясь посторонним замечанием дать иное направление мыслям его, возносит безмолвно свои молитвы.

– Должно я ошибся, чем ты хочешь заниматься?

– Чем прикажете, Артемий Петрович.

– И грибы солить?

Налли растерянно молчит, в замешательстве глядя на Волынского. Тот смеется.

– На французском писать можешь ли?

– Писать на французском – моё удовольствие.

– Родионов, принеси книгу Макиавелли столько, чтобы было довольно для удовольствия Фрола Кущина. А ты, юноша, подготовь мне к этому же часу на завтра экстракт на французском языке «рассуждение о добродетельной службе гражданской имеющей к пользе общества быть». Если труд твой успешным окажется, останешься у меня секретарём.

Таким образом, просидев всю ночь над Макиавелли, Налли при деятельной помощи де Форса, составила изящное рассуждение, которое и представила вместе с переводом на другой день. Артемий Петрович остался весьма доволен, и она утвердилась в должности секретаря его.

Налли скоро освоилась с новым своим положением и домочадцами Волынского. Выделиться ученостью среди них было не просто, ибо не грамотных не было среди дворни ни одного. Кроме умения читать и писать людям Волынского вменялось в обязанность обращаться «ласково и учтиво» как писал хозяин в специально составленном им для такого случая мемориале, не только с каждым человеком, но даже с лошадьми и собаками. Что касается до входящих в сам дом господский лакеев, камердинеров, поваров, куафюров и прочей прислуги

мужского рода то от них требовалось изучать историю древнюю и священную, латынь хотя сколько-нибудь, географию и все прочие науки до которых окажутся способны. Для того при доме Волынского была учреждена школа, в которой студент из Штутгарта Иоганн Зейгер преподавал языки, математику, и особенно латынь, до которой сам хозяин был большой охотник, и старался чтением сочинений древних законодателей, сенаторов и знатоков права восполнить недостаток подобных занятий в дни своей юности, проведённой посреди бранных полей. «Латынь» Альвара была неразлучною подругою Артемия Петровича. Вместе с нею читывал он «Поэтику», «Житие Сократово», «Разговоры архитектора с живописцем». Хорошо зная по-польски, он собрал изрядную на нем библиотеку, из которой, более других книг, выделял «Конфидерацию» и некоторые политические сочинения.



Разумеется, секретари и адъютанты его, в той или иной мере, изъяснялись на нескольких языках, неплохо были знакомы с трудами немецких политиков, например, «Истинной политике знатных и благородных особ», «О должности человека и гражданина» Пуфендорфа. Хозяин приказал перевести их на русский язык, и не раз сам читывал своим детям и воспитывавшимся у него бедным родственницам – девицам Елене и Прасковье. О воспитании последних

Волынской хлопотал не менее, чем о добронравии собственных дочерей, для чего сам выбирал для них чтение, и заставлял переписывать по русски и немецки «Юности честное зеркало» и «Похваление девицам».

Вообще, не трудно было заметить, что деятельность государственная была для Волынского не столько должностью, сколько страстью. Он постоянно требовал новых переводов с латыни «Корпус права гражданского», с голландского – Юста Липсия, с итальянского – Траяно Боккалини и Никколо Макиавелли. Читая труды древних историков: Тита Ливия, Квинта Курция и более новые, такие как «Деяния церковные и гражданские» Цезаря Барония, или «Введение в историю Европейскую» того же Пуфендорфа, Волынской стремился их превзойти, и сам занимался составлением пространных рассуждений по тому, или другому предмету. Любовь к чтению и сочинительству была спутницею Артемия Петровича с отроческих лет. Обладая в полной мере даром образно выражать свои мысли, он не ограничился блистать речами в собраниях и советах, но старался и рассуждениям своим придать подобающую, содержащимся в них мыслям, красоту. Когда он бывал доволен своим творением, то, повинувшись искренней своей радости, мог читать удавшиеся экстракты всем, кого считал достойным их услышать, начиная от ближайшего своего друга графа Мусина-Пушкина и дочерей, до дворового музыканта Бункорковского и заведующего всеми припасами домашними Векиана. Забегая вперед, можно прибавить, что Налли также бывала его слушательницей, ибо полнее всех могла разделить гордость автора, хотя и весьма уступала многим в возможности оценить достоинства способов улучшения государственных дел. Во всяком слове она видела подтверждение добродетелей сочинителя, а в предисловии восхищена и тронута была изрядною скромностью, с которой он обращался к министрам следующих столетий. «...не риторическим порядком в расположении в том своём сочинении глав написал, в том бы меня не предосуждали, того ради что я в школах не бывал, а обращался с молодых лет в военной службе... и ежели, вы, господа почтенные, усмотрите сверх что к изытию и дополнению, прошу в том потрудиться, и я на резонабельное буду склонен и сердиться и досадовать за это не стану».

Другим обширнейшим занятием, которому Волынской отдавал почти столько же сил, но гораздо менее – сердца – были его вотчины и их устройство. Ему принадлежало около 2500 душ, а годовой доход составлял 500 рублей. Он мог быть почти вдвое выше этой цифры если бы Волынской не столь ревностно заботился о покое и довольстве людей своих в подмосковных Вороново и Петино, Новоникольском – в Дмитровском уезде, Телепино – в Вологодском, Васильевское – в Юрьевском, Батыево – в Луховском, Архангельское – в Пензенском, а также, в оставшихся от покойной жены, селах Бабасово, Арефьино и Пурук. Волынскому непременно хотелось, чтобы люди его жили мирно и учтиво, поскольку ставил себе всякую грубость их и беспечность в поношение. Управляющим вменялось в долг, разными приятными для крестьян способами, искоренять невежество и излишнюю суровость из жизни их, для чего хозяин составлял разнообразные инструкции: «об управлении деревень», «о десяти Божьих заповедях» и другие. Особенно требовалось не пропустить человека, склонного к учению или художеству, но отправлять таковых для учения в Москву. Также он имел попечение о всех лицах, не могущих по тем или иным причинам работы исполнять. Забота об их пропитании, платье, жилище, а в случае если эти лица молоды – учении и воспитании регламентировались несколькими пунктами, сочиненного для того мемориала «об отеческой и нелицемерной любви, какую в сердце дворянину содержать надлежит». В приданое бедным невестам приказывалось отдавать «добра и денег», чтобы отнюдь «женихи таких бедных сирот ради скудности средств их не манкировали». Кроме того, особенные суммы выделялись на случаи «которые в никакой регламент вместить невозможно, но которые от усердия и добрых свойств в людях происходить могут и которых нельзя без должной награды оставлять», на украшения церковей и содержание причта. Наибольшую же заботу имел обер-егермейстер о людях, трудящихся для его конюшенного ведомства, заходя в ней так далеко, что не останавливался перед, уже не регла-

ментированными никакими мемориалами, выплатами нужным лицам ради избавления своих людей от солдатчины, или подушной повинности.

Обо всем этом Налли узнала со слов её окружающих, собственных наблюдений и благодаря переписке, которую вела для патрона с его управляющими.

Как легко дышится в его доме, как радостно глядеть на самые обыкновенные предметы! Налли будто возвратилась с чужбины, где все враждебное, скучное. Тут родной, любезный язык – говорят все о нем. Слух постоянно ловит его имя, словно слышанную в колыбели речь, по которой тосковал посреди незнакомых наречий.

Домочадцев она разделяла по степени их преданности генералу на три категории – тех, кто служил по совести, тех кто искал пользоваться чем-либо, мало заботясь, или не заботясь вовсе о деле, и людей, преданных именно личности хозяина, среди которых попадались лица из первой и второй категории. Иван Родионов, бесспорно был самым ярким представителем первого и третьего типа служащих у Волынского. Василий Кубанец, дворецкий его – возглавлял в уме Налли список лиц, принадлежащих ко второму типу и был вреден в высшей степени. Хотя по роду своих занятий они виделись не часто, Налли казалось, что Кубанец понимает насколько неприятен ей и платит полной взаимностью.

Отношения со старшим секретарём Родионовым, несмотря на прилежные усилия Налли снискать его расположение, также не ладились.

Часто, утомлённая непрерывными переводами и подготовлением мемориалов, Налли не имела охоты идти с другими секретарями обедать и, испросив принести ей что-нибудь со стола, оставалась в канцелярской. Несколько времени она продолжала ревностно писать, но потом мысли её обращались к патрону.

Она видела его таким, каким запомнила при отъезде в Вороново, рядом с которым он намеревался осмотреть и купить пустошь, принадлежащую некому Григорию Кудаеву, с тем чтобы устроить там усадьбу. Налли соображала сколько времени проедет Волынской и какие бумаги приказано будет изготовлять, с привычным нежным чувством к его, обитому красной каразеей, экипажу, серебряному столовому прибору, который он везде за собой возил, походному канфору с кофейником, паре дорожных пистолетов и всем мелочам до него относящимся. Наконец мысли её путались, и она дремала, сложив руки на конторке перед собой, и уронив на них голову. Непривычный труд делал её слишком тяжёлою, и первое время утверждения в своей должности такое положение было Налли не за редкость. В доме имелось множество книг и рукописей. Не только секретари должны были уметь тотчас отыскать любое из сих сочинений, таких как, например, «Описание Персии и Грузии», «Издание полное договоров России с Ираном», «Издание слов Феофана Прокоповича», «Летописец Стрыйковского», «Известие о житии русских князей от Рюрика», но и иметь хотя некоторое представление о содержащихся в них мыслях.

Обширность обязанностей иногда приводила Налли в слёзы, тёкшие, впрочем, не от горькости труда, но от опасения с ним не сладить и лишиться благосклонности Волынского. Дабы избежать сего несчастья она почасту приносила копии рукописей и книги в своё жильё и прибегала к помощи де Форса. Последний просиживал за письмом ночами, а наутро втолковывал своей госпоже содержимое полученных экстрактов.

Вскоре Волынской вернулся, привезя с собой новые купчие и реестры, разбиранием которых занялись в канцелярии, и с которыми нужно было разделаться возможно скорее. Потому, а может быть и не только по этой причине, адъютант Иван Родионов и секретарь возглавляемой Волынским иностранной коллегии Иван де ля Суда, однажды, в свою очередь, просили Налли принести им съестного, а сами к столу не вышли, отговорившись срочностью дел.

– Каков? – сказал де ля Суда, когда шаги Налли смолкли, – Не долго целил, хорошо попал.

– Видно такая ему фортуна, – задумчиво отвечал Родионов, – Горько, конечно. Более 20 лет Артемию Петровичу служу, вместе в плену пять месяцев в Стамбуле томились. Сколько

натерпелись всего – нарочно экзекутор перед темницею сидел, чтобы в глазах наших быть, и каждый час приказу дожидался нас терзать. Бог миловал. По Каспию флотилию водили, со шведами бок о бок воевали. А теперь, видишь ли, кого мне в камрады определил. Бранить Фрола мне не по совести – чистосердечен, добр, скромн, учтив, в обращении приятен столько, что и камергеру впору. Прибавь к тому шестнадцатую весну – и вот Фрол. Однако слишком хозяин скор на милость. Нельзя красоте лица и слога столько веры давать. Пусть с моё послужит, а милость – если заслужит.

– Заслужить ему нечем. Обучен не изрядно. В делах ничего не смыслит. На днях даю ему старых реестров три ящика, которые из Шемахи ещё наш генерал привез и с ними же купчие на жеребцов итальянских вместе со счетами во что зимовые сих жеребцов вышло. Свалил сей хлам в кучу, только чтоб его занять нестоящим чем. «Нумеруйте, сударь», – ему говорю, а он на них глядит, будто не знает с какого конца подступиться, а спросить видно совестно и не хотел неспособность свою показать. Крепился сколько-то, потом препечальным голос ко мне: «Римским колонтитулом или иным?»

Оба секретаря расхохотались.

– Но ты, однако, ему показал?

– Когда объяснить порядком и дело не сложное, то он весьма искусен и скор. Толковать много и не пришлось, я только ему заметил, что «нумеровать» означает отбирать по годам, потом месяцам и числам, по величине счета, по содержанию купчей. Он всё исполнил нельзя как лучше. Я хоть и смеюсь иногда над ним, а он мне по сердцу.

– А мне – напротив.

– Отчего так?

– Не люблю льстецов, особливо таких ловких.

– Есть такой грех, но заметь, никто другой лучше Фрола льстить не сумеет, и дело тут не в «лице и слоге», хотя и того довольно. Он удостоверительно то в сердце имеет о чём говорит. Сколько мил! Не диво, что в секретари угодил, и кто бы ему отказал. Разве совсем бездушный. Помнишь, давеча, хотел ты от меня добиться толку, что есть куртуа. В русском языке сего значения не находится. Изысканность, пленительное обхождение? Близко, да не то. Теперь говорю тебе, взгляни на Кущина и знай – он истинный есть куртуа.

– А какова дерзость, – подхватил с негодованием Родионов, припомнив вторжение Налли и её пламенное предложение своих услуг, – он именно меня выбрал объявить, что желает служить секретарём! Я это иначе как вызов принять не могу.

– А может он не знал, что ты обер-секретарь?

– Знал! Он не знает только, что до регул и артикулов имеет касательство, да римского суда с латынью, а до всего прочего так осведомлён, что и сказать нельзя. «Петенька горлом заболит, если туман выпадет, и потому распорядиться надо, чтоб в его покое окон не открывали, а в соседнем, напротив того, открытым держали, потому как чистый воздух должен таки иметь к Петеньке доступ, однако, чтобы человек специальный надзирал, и до туману, окно то затворить успел», «парчовый камзол нельзя применять с шитьем серебряным, разве по темному платью».

– Понимаю о чём ты, но дурного в том Фролу не вижу. Петр Артемьевич часто горлом не здоров, и что же худого, если чей-то глаз столь к нему заботлив – матери ведь у него нет. И того не забывай, что Фролу как к чужому здоровью чутку не быть, если и сам им похвалиться не может. Заметил, как он всякого сквозняка опасается? Воды студёной не пьёт, камзола не расстегнёт никогда и шейный платок не снимает. А что до красоты платья, отчего бы о ней не порадеть, раз Господь к тому наделил способностью?

– Иногда и то даже в ум беру, что и к должности ходит только, чтоб показаться перед генералом, столько ему привержен. Когда в его глазах бывает, сияет, будто из петли вынули или вотчиной пожалован.

– И что с того? Все стремятся войти в «кредит», и Фрол тем же миром мазан.

– Что с того? А вот что – все стремятся, а иные – и входят. Вчера подаю Артемию Петровичу экстракт из Юста Липсия, а он посмотрел и говорит: «с каких это пор Липсий пишет в манере Лукиана»?

Читаю и глазам не верю – вместо экстракта из Липсия – экстракт из Фенеловых «Диалогов мёртвых». Артемий Петрович нахмурился и говорит:

– Такое рассуждение для того только годится кому всё одно – что Липсий, что Фенелон.

– Такое рассуждение, Артемий Петрович, годится только для того кто его составлял – для Фрола Кущина.

Артемий Петрович снова заглянул в бумагу и отвечал:

– Рассуждение таки не дурное, но только мне нужен Липсий. Составь, Иван, его сам и поскорее. А Фролу о сей конфузе не пересказывай – очень к сердцу примет.

– В том можно не сомневаться, – подтвердил де Суда, – огорчение вышло бы чувствительным, и я душевно рад, что Фрол его избег.

– Представь же, друг, сколь я был «душевно рад» когда его превосходительство мне приказал впредь и до конца года, проверять всё что не выйдет из-под пера сего Фрола, да так, чтобы он о том не знал и «к сердцу не принимал», и если найду надобным – исправлять, а ему, разными для него приятными способами, разьяснять его должность. По всему вижу выживет он меня с места.

– Напрасно, Иван Васильевич. Ведь ты Фролу в отцы годишься, мудрено ли, если годов через пятнадцать он и займёт твоё место? Греха не будет, коли он при нашем участии к тому изряден окажется.

– «Изряден», – повторил Родионов, сердясь оттого, что товарищ его не находил в рассказе о вхождении в «кредит» Фрола ничего угрожающего, – так изряден, что и за стол свой сажает.

– Не тебя же сажать занимать девиц, – возразил де ля Суда, – их четверо, одна младше другой, скоро станут невестами, а для обучения достойно и любезно с кавалером себя держать, лучше Фрола никого и вообразить нельзя. Скромн и приятен не только в речах и поступках, но и в голосе и взорах, а в обращении с девицами столько смел и непринужден, сколько один только брат родной быть может и при том столько же чист в мыслях. Удивляюсь даже, как он в юных самых годах такое умение приобрёл.

– Тебя только его превосходительству слушать – от него бы тотчас утвердительную резолюцию адвокатуре своей получил. А я прежде говорил и на том стою – нестоящий сей Кущин человек.

– Что ума не изрядного не отрицаю, – отвечал де Суда, приметя недовольство Родионова, – и что перед Артемием Петровичем искателен сверх меры то правда. Сам не знаю отчего не могу на Фрола осердиться.

– И тебя обошёл, – усмехнулся Родионов, – отчего его до сих пор нет?

– Пойду потороплю, – отвечал де Суда.

Но нашёл он Налли не вдруг и в месте где менее всего ожидал. По словам спрошенного Кубанца, Петр Артемьевич захворал и просил сестриц к нему пожаловать, а Фрола – развлечь их общество чтением. Когда де Суда взошёл в покои младшего Волынского, он увидел его лежащим на постели, с обложенною размоченным в уксусе ржаным хлебом головою. Анна и Мария занимались рукоделием по обе стороны от него. Налли, расположась на ковре перед пылающем голландской печкой, читала «Телемака»:

– «...если бы он также как некогда я был пастухом, так был бы и счастлив, наслаждался невинными сельскими удовольствиями без страха и без угрызения совести, не боялся бы ни меча, ни яда, любил бы людей взаимно любимый, не обладал бы несметными, бесполезными для него, как песок на краю моря, сокровищами – он не смеет к ним прикасаться – но, свободно питаюсь земными плодами ни в чём не терпел бы истинной нужды. Он думает, что делает всё по желанию – обманчивый призрак! Он исполняет только волю страстей своих, терзаясь еже-

минутно любостязанием, страхом, подозрением. Думает, что царствует, а в действительности раб собственного сердца. В нём столько тиранов и повелителей, сколько неистовых желаний.

Так размышлял я о Пигмалионе, не видел его ни однажды. Он никогда не показывался и народ с ужасом только смотрел на высокие, денно и нощно обставленные стражей стены, где он, как в недоступной темнице, заключался с сокровищами от людей и от совести...».

Иван давно хотел прервать чтеца, но Анна Артемьевна всякий раз предостерегающе поднимала палец и указывала глазами на брата.

Де Суда осторожно затворил дверь и вернулся в канцелярскую, предоставив сообщением о новых обязанностях Фрола своему другу повод для дальнейших рассуждений об его удачливости.

Налли меж тем хотела было, встав за сестрами, собравшими свою работу, покинуть задремавшего Петра, когда услышала его слабый голос, просящий ещё чтения.

«...я не стану упрекать тебя в погрешности, довольно того, что ты сам её чувствуешь, и пусть она научит тебя сдерживать впредь свои желания. Теперь надлежит вооружиться великодушным терпением...».

Глаза слушателя и чтеца слипались, но стоило Налли умолкнуть, как Пётр искательным голосом шептал:

– Фролушка, не покидай меня. Когда ты читаешь, я забываю о своём горле.

Налли снова принималась за «Телемака». Жарко пылавший огонь наполнял воздух приятной теплотой. Налли прилегла на локоть и продолжала едва внятно:

«...Истинное мужество, – отвечал мне Ментор, – всегда ещё находит способ к спасению. Встретить смерть с непоколебимым спокойствием – мало, надобно стараться отразить её с бодрым духом, со всеми усилиями...»

Когда Артемий Петрович зашёл проститься с сыном на ночь, он нашёл его крепко спящим. Мокрые пряди волос облепили лоб его и шею – жар весь из него вышел. На ковре, уронив голову в раскрытую книгу, спала Налли. Волынской перекрестил обоих и вернулся к себе.

* * *

Несколько дней спустя, описанного выше разговора двух секретарей, их работа была прервана вошедшим в канцелярскую лакеем.

– Фрол Александрович, пожалуйста к генералу.

Налли вышла, оставшиеся переглянулись.

– Видеть не могу, как сей Фрол подходит к генералу с умирающими взорами и слащавым языком. Не придумаю, как ты его выносишь, – проговорил Родионов.

– Помилуй, Иван Васильевич, я кроме учтивости во Фроле другого не нахожу, – отвечал де Суда.

– Вот что, любезный Фрол, – заговорил Волынской, – есть одно срочное дело, не знал кому его доверить и лучше не мог придумать, как за тобой послать. В Москву наспех скакать нужно с письмом к обер-гофмейстеру Салтыкову, сроднику моему. Никому другому, я бы более объяснять не стал, но тебе, как ты усердней многих прочих и слов моих цену понимать можешь, добавлю: сие дело весьма мне важно. Оно старо уже и пересказывать о нём резона не вижу, а суть в том состоит, что несколько часов назад, как мне известно стало, что в Москву, где сейчас государыня пребывает, выехал чей-то посланец, с доношением о бывшей прежде у меня тяжбе с казанским архиереем. Уже тому несколько годов, как тяжба сия, милостивым её величества решением окончена, и не могу придумать кто о ней может теперь хлопотать, и что именно содержит доношение. Пока я здесь буду доискиваться ответов на сии вопросы, ты должен первого посланца предупредить и ранее его быть в Москве у Салтыкова. А тот из письма моего знает, что и как довести до государыни, на случай если ей опять в руки попадёт что-

нибудь до той тяжбы касательство имеющие. Если преуспеешь, окажешь мне тем не малую пользу, а ежели напротив...

– Артемий Петрович, вы не могли лучше распорядиться письмом, мне его поручив.

– Я и не ждал другого от тебя услышать. Вот тебе пять рублей в дорогу, пистолет (на дороге давно не слышно чтоб шалили, однако, не лишним будет) и письмо. Где дом Салтыкова отыскать тут всё указано. Подорожную Родионов уже изготовил.

Через несколько минут Налли сидела в седле огромного немецкого жеребца, а Волынской ходил кругом него, собственноручно проверяя подпруги и всю сбрую. Оставшись доволен своим осмотром, он приказал приторочить к седлу за спиной у Налли епанчу.

– Не смотри что тепло, – сказал он, отвечая на изумленный её взгляд, – я сам курьером не мало поездил, знаю что в дороге быть может. У нас ночи и летом суровы.

– Не совладеть ему с конём, ваше превосходительство, – озабоченно заметил конюх, державший лошадь под уздцы – он уж чувствует кто на нём сидит.

– Натяни повод, – приказал Волынской.

Налли рванула ремни, лежащие у неё между пальцами.

– Кто только тебя учил! Я б ему, бездельнику, показал, как не за своё дело приниматься. Ударь арапником. Сильней, не кошку гладишь.

– Неси «кошку», – слово надоумило, – приказал Волынской конюху.

Тот явился с плеткой, имеющей четыре конца, увенчанных узлами, содержащими в себе свинец.

– Ваше превосходительство, он же коня попортит, коли до самой Москвы станет над ним этакой штукой махать.

– А ты почему знаешь куда ему ехать?

– Я дорогу спрашивал, – виновато призналась Налли.

– Что значат слова твои? Ужели ты не только не в состоянии лошади показать кто из вас хозяин, но и верстовых столбов не замечаешь?

– Я их очень замечаю, – отвечала Налли, чуть не плача, – я хотел изведать нельзя ли где спрямить.

– Что за мысли, Фрол – мимо их. Держись дороги, не гоня слишком и не останавливаясь – ничего более.

– Коня «кошкой» издерет, – не унимался конюх.

– Он таким силачом уродился, что никакого огорчения ни «кошкою», ни маргиналем Прусаку не причинит, а без них тот и седоком его почитать не станет. Для чего вдруг ты такой понурый стал, Фрол?

– Вы назвали меня плохим наездником.

– А другой, глядя на тебя, возможет сказать иное? Пустое, как вернёшься я сам за тебя примусь, будешь ездить не хуже моего. А сейчас не то дорого, чтоб сидеть изрядно. Коню только дитя нести легче, а Прусак и артиллерию мог бы до Москвы доставить. Потому я вас двоих избрал. Береги коня, Фрол, для тяжёлой кавалерии его растил, дорог мне встал.

– А всадник? – не удержалась Налли.

– Всадник того дороже, – отвечал Волынской, крестя Налли, – с Богом.

Поначалу путешествие Налли складывалось замечательно хорошо. Прусак размеренно рассекал мощной грудной клеткой воздух, ровно выкидывая огромные свои ноги, и не доставлял Налли малейшего беспокойства. Она благодарила провидение за то, что неоднократно забавлялась с Фролом скаканием по деревне на смиренной крестьянской лошадке. Верховая езда ей совершенно не нравилась, и она составляла о ней хотя некоторое представление только в угоду брату и смеха ради, о чём, конечно, теперь радовалась всей душой. Дорога была очень оживлена. Кроме поклаж, нагруженных разным добром для торгу, двигавшихся в ту и другую сторону, и сопровождаемых мужиками и приказными, можно было видеть офицеров и гар-

демаринов, ведущих свою команду, крытые экипажи, скрывающие за своими стёклами лица целых семейств, а однажды Налли должна была дать дорогу вызолоченной карете генерала Магнуса Бирона, брата обер-камергера, спешащего из Москвы в столицу.

В каждом нагоняемом ею всаднике Налли представлялся злокозненный курьер, потому она незаметно для себя самой нарушала приказание Волынского ехать мерно, и то и дело шпорила Прусака. К сумеркам бока его стали покрываться влагой и подергиваться от пробежавшего по шкуре трепета, но дыхание и шаг оставались такими же ровными, как и в начале пути. Налли, слишком мало сведущая в вопросах касающихся достоинств приличных лошадям, не придавала этому наблюдению никакого значения и не оценила сокровища, вверенного ей в лице Прусака. Она решила не останавливаться на ночь и, оставив за собою встретившуюся деревню с потухшим в наступившей тьме крестом колокольни, кликнула припозднившегося поселянина, бредущего на этот бледный маяк с котомкою за плечами.

– А что, добрый человек, тут кажется где-то должна быть река, а за рекою – Московский тракт? Отчего я её не вижу?

– За рощей она, оттого и не видишь, – отвечал с поклоном мужик.

– За какой рощей?

– За березовую. С полверсты не будет. Да вот она.

Налли поглядела в указанную сторону и заметила невдалеке темнеющее пятно, которое принимала в сумерках за холм. Дорога шла другой стороной.

– А коли дорогу оставить и ехать на рощу, можно скорее на московский тракт стать?

– Вестимо можно. Только конь твой в кочах загрузнет совсем.

– Спасибо, добрый человек, – отвечала Налли, пропустив мимо ушей непонятое замечание, – вот тебе алтын, ступай с Богом.

– И тебя храни Матерь Божия, – отвечал прохожий, и Налли повернула к роще.

Блуждания по ней показались ей часами, хотя на самом деле заняли гораздо меньше времени. Прусак не мог передвигаться, иначе как шагом, идя в поводу за Налли, которая, не видя в сгустившейся тьме ничего кроме торчащих повсюду стволов, пыталась найти нужное направление. Уже душу ей стало терзать опасение, заплутать в лесу вместе с Прусаком, письмом и деньгами, когда она заметила впереди мелькнувший огонёк жилища. Скоро и вода блеснула под берегом с дремавшей на нём деревенькой. У завозни возился плотный мужик. Налли бросилась к нему.

– На тот берег, Бога ради, быстрее.

– Не могу, – отвечал мужик, – погодить изволь, потому с другим уж порядился. Тот тоже едет наспех.

Известие это взволновало Налли необычайно.

– Только перевези меня прежде – получишь рубль серебром.

Мужик решительно покачал головой.

– Уж порядился, от слова не отступлю.

– Два рубля.

– Не могу, сказал.

– Три.

Мужик помолчал.

– Боязно, вишь, тот первый, от генерала послан.

– От какого генерала?

– То-то и есть, что от самого генерал-аншефа Волынского. Наказывал ехать без промедления. Так сам суди, что мной станется, коли помеху стану чинить.

Налли чуть не задохнулась от дерзкого остроумия своего соперника. Подозрение её обратилось в уверенность.

– От Волынского послан я, а кто тот бездельник, то мой господин сам уведает. Вот, взгляни – моя подорожная.

– Чего мне в неё глядеть, коли грамоты не знаю, – отвечал мужик, – а вот свести вас вместе – изволь сведу, сами разберетесь, поди, кто из вас вор. Он в избе с того краю стоит да подкрепляется чем Бог послал – с дороги притомился, и конь его ровно из бани.

Но Налли решительно отвергла такое предложение.

– Пять рублей сейчас и ещё столько же на той стороне, – сказала она.

– Заводи коня на завозню, – решил мужик.

– А что другой завозни тут нет?

– Одна моя.

– А есть ещё на чём перебраться через реку возможно?

– Как не быть, – отвечал мужик, пересчитывая деньги, – лодок довольно. Но чтоб коня поставить можно, для того всего один дощаник имеется.

– Проломи его прежде чем отчалим, – приказала Налли.

Мужик, совершенно расположившийся к щедрому пассажиру, тут же исполнил её желание и через полчаса Налли уже стояла на московском тракте, с другой стороны реки.

– Прости, добрый человек, – сказала она, – денег более при себе у меня нет. Но мой кафтан стоит на три с полтиной больше, чем долг мой тебе. Прими его и сочтёмся.

– Кафтанец-то изряден, – проговорил в раздумье мужик, шупая сукно, – да только, ведь, как я продам его? Скажут украл. Вот кабы ты мне купчую на него какую изготовил.

– Как купчую? При мне ведь ни перьев, ни чернил нет.

– Уголёк сейчас выну, – отвечал мужик и, бросившись в хибарку у перевоза, вернулся с фонарём и угольным грифелем.

– А бумага?

– А бумаги отродясь не держал. К старосте за бумагой идти надо.

– Некогда мне старосту твоего искать, – воскликнула Налли с досадой и, достав подорожную, оторвала от неё изрядный кусок, – что писать?

– Де курьер такой-то пожаловал де Никодиму Захарьеву кафтан. А тот кафтан де ценой в девять рублёв.

– В восемь с полтиною, – поправила Налли, протягивая ему бумагу, и с лукавством прибавила, – коли второй курьер спросит, кому завозню отдал, скажи – то казанского архиерея человек был и грозился ему на Москве не показываться, не то милости его преосвященства владыки совсем лишиться может.

До самой Москвы Налли останавливалась только три раза, на время, требуемое для того, чтоб дать отдых Прусаку. Первая остановка была предпринята в чистом поле, где Налли, завернувшись в епанчу, забралась в укрытый от непогоды и изрядно пощипанный, пущенными в ночное конями, стог старого уже сена. Она не могла даже несколько часов отдать спокойному сну, ибо, не умев стреножить Прусака, боялась его потерять и к тому же страшилась появления непрошенного гостя в лице хозяина стога, которым лакомился конь её. Потому, кое-как перебив мучавшую её дремоту, Налли заставила Прусака вновь пуститься рысью по белевшей в утренних лучах дороге. Второй раз она остановилась у деревенского колодца, терзаемая жаждой и опасением загнать покрытого пеной коня своего. Она знала об опасности могущей приключиться лошади от студеной воды и потому несколько времени водила Прусака шагом вдоль улицы, прежде чем его напоить. Ловя на себе недоуменные взгляды поселян, ибо по причине неимения чем заплатить, отвергала их предложения крова и обеда, Налли, наконец, побеждена была голодом и отдала круглолицей девушке чёрную атласную ленту из своей куафюры, за кувшин молока с куском хлеба. В продолжении третьей остановки, Налли спала, а Прусак лакомился овсом, полученным в счёт оторванных манжетов своей хозяйки, на недалёкой уже от Москвы станции. Отъехав в обратный путь из дома Салтыкова, о посещении которого чита-

тель узнает в своем месте, Налли скоро поняла, что силы её на исходе. Она уже не должна была гнать лошадь, ибо дело её было кончено, но усталость овладела ею столь безжалостно, что едва не валила наземь. Всё тело её страшно ныло, кости ломило, к тому же оставшись без кафтана, она постеснялась просить другого у Салтыкова, и ехала, завернувшись в епанчу поверх камзола, что доставляло ей много неудобств.

К концу первого дня пути, начал накрапывать дождь и Налли стала подумывать о ночлеге, как вдруг услышала своё имя, громко произнесённое скакавшим навстречу всадником.

– Фрол! – вскричала она, смеясь от радости, – как ты здесь очутился?

– Как счастливо, – заметил подъехавший за Фролом де Форс, – ещё час и мы не узнали бы друг друга за темнотою.

Дело обстояло следующим образом. Не дождавшись Налли вечером того дня, как она была послана в Москву де Форс пришёл в волнение и хотел было пойти узнать о ней, но был остановлен Фролом, который напомнил о том, что такие случаи уже бывали и что они не говорят ни о чём другом, как о том только, что Петр Артемьевич болен горлом и не отпускает от себя любимого своего чтеца, либо что писарской работы слишком много, и для Налли постелили в канцелярской.

Де Форс принуждён был смирить свою тревогу, но, когда Налли не появилась и на другую ночь, решительно собрался к дому на Мойке.

– Осторожно спрашивай, не вдруг, – говорил Фрол, шагая рядом с ним и беспокоясь как бы француз неуместной настойчивостью не навлек на Налли нареканий и не лишил её должности.

– Истинно, сударь, порой поверить не могу, что вы родным братом Наталие Александровне приходитесь, – отвечал де Форс.

– Оттого то, что я ей родной брат я её лучше твоего знаю и спокоен. А твои опасения только легкомыслия твоего же достойны, и я их презираю вместе с тобою самим. Налли не такова чтоб с ней какой анекдот мог произойти.

– Что касается достоинств сестрицы вашей, то вряд ли вы найдёте более почтительного их поклонника в иной персоне, кроме моей. Но что до иных лиц, то я не могу быть в них столь уверен.

– Каркает, каркает, не человек, а ворона.

В доме Волынского де Форсу, представившемуся слугою секретаря Кущина, отвечали, что секретарь послан в Москву, и второй день как уехал.

– С кем? – вскричал де Форс.

– С письмом, вестимо, – отвечал человек.

Де Форс несколько успокоившись, скоро опять пришёл в волнение, теперь по поводу здоровья госпожи своей. В этом он совершенно сошёлся со Фролом, и они вместе выехали Налли навстречу, надеясь не разминуться в пути.

Налли перебралась на лошадь впереди брата и, пристроившись между рук его, тотчас задремала.

– Прусака в повод и на ближайшую станцию, – приказал тот де Форсу, – я тихо поеду, и чтоб разжился чем закусить.

Таким образом, меняя усталых лошадей, на свежих, спутники проделали обратный путь почти с тою же быстротою, с какою Налли достигла Москвы. Простившись со своими, как она их назвала «спасителями» у городской заставы, Налли поскакала к дому на Мойке. Волынской не мог прийти в себя от изумления.

– Как такое возможно, – повторял он, в восторге глядя на своего курьера, – ты вернулся на сутки ранее, чем предполагать надлежало, и то с тем чтоб загнать насмерть Прусака. Подлинно, мудрено поверить, что был в Москве.

Налли протянула ему письмо от Салтыкова.

– За неволю поверить должен, – проговорил Волынской, разворачивая его, и пробегая глазами. Вдруг он рассмеялся.

– Послушай, что о тебе пишет обер-гофмейстер:

«...твой курьер всем хорош, племянник, но более его ко мне не присылай. Он явился мне в дом, в то время, как я после обеда, по обыкновению своему, отдыхал. Лакей не хотел докладывать покуда я не проснусь, но посланец твой, прождав очень немного времени, пришёл в изрядное волнение и стал настаивать меня разбудить, ссылаясь на срочность твоего дела. Ты знаешь, племянник, мои порядки и что я менять их не люблю. Мои люди в том удостоверены со всей крепостью, потому лакей оставил все слова курьера без внимания. Тот от просьб и посулов перешёл к угрозам, от угроз – к самому делу. А именно, выхватив пистолет, хотел человека моего напугать и принудить ему повиноваться. Последний, уверившись, что имеет дело с умалишенным, вывернул ему руку с оружием, отчего и случился ненамеренно выстрел, переполошивший весь дом и известивший меня о прибытии твоего посланца. Благодарение Богу, никто не был задет, ибо пуля ушла в пол.

Я хотел осерчать на курьера, но не мог – зело смешон и собой хорош. Он очень сконфужен был происшедшим анекдотом и более всего опасался, чтоб я тебе о том не пересказал. Для чего просил себе извинений и у меня, и у моего человека. Он напомнил мне, своей манерою, одного из шуринов графа Остерманна – меньшого Стрешнева, в отроческие его годы. Я хотел оставить его ночевать, но он, съев тарелку куриного супу, объявил, что должен ехать и стал просить меня сесть за письмо к тебе, и распорядиться чтоб хорошенько покормили Пруссака. Вообще, во всё время пребывания в моём доме, курьер твой имел вид человека, у которого горит родное жильё, и он торопиться вынести из него своё дитя или мать. Потому, дай ему полтину за усердие и избавь впредь от шумных его визитов...»

– Дядя мой скуповат, – продолжал Волынской, откладывая письмо, – полтиной, разумеется, я такого дела не оставлю. Но прежде чем тебя жаловать, хочу услышать, не имеешь ли ты ко мне какой-либо надобности?

– Ваше превосходительство, – отвечала Налли, – если вы спрашиваете моего желания, то оно в том состоит, чтоб всегда иметь доверенность к поручениям вашим и особенно таким, из исполнения которых, вы могли бы увериться в моей верности.

– Не часто случалось мне видеть столь много честолюбия в юной годами персоне. Любезный Фрол, считай своё желание исполненным. Кроме того, я хочу, чтобы ты всегда обедал и проходил латинский и немецкий урок вместе с Петром Артемьевичем, то полезно будет вам обоим. Так же, кроме обычного своего дела, тебе надлежит готовить себя к церемониалу, потому что со временем думаю сделать тебя адъютантом для парадных выездов. Но об этом после, а теперь, возьми в канцелярской столько денег, сколько ушло на дорогу и ступай за Петром Артемьевичем в баню. Словно к твоему возвращению истоплена.

– Не могу Артемий Петрович. Доктора приказали мне бани как огня остерегаться, потому как нашли во мне опухоль изрядную, для которой жар может служить пищею. Оттого никогда не парюсь в бане.

– Так вот отчего ты так слаб, бедный Фрол. Не печалься, наш вице-канцлер тою же болезнью отягощён, но, попомни слова мои, всех нас переживёт. А тебя осмотреть приглашу Лестока и Дитрихманна.

– Прошу вас, Артемий Петрович, – вскричала Налли с большою горячностью, – не давайте моей болезни никакого внимания, как я и сам поступаю, исключая воздержанности к жару. От докторов пользы никакой не увижу, только хлопоты да расходы.

– Что до хлопотав да расходов, то я не имею привычки бегать их, для тех кто того стоит. Но если ты презираешь тревогу и не мнителен в опасности до твоей жизни касательство имеющей, не стану отнимать у тебя сих достоинств. Изволь, коли ты так бодр в своей немощи, не стану тебе докторами докучать. Но ежели замечу...

– Ваше превосходительство, забудьте всё до моей болезни относящееся. Она мне вовсе не в тягость, – отвечала Налли, и тем разговор окончен был.

Волынской слов своих не забыл и вскоре приказал оседлать для сына и Фрола лошадей, которых сам для этой цели выбрал.

– Стыдно сыну обер-егермейстера и его секретарю не быть изрядными наездниками, – обратился он к ним со своего коня, будто к полку, ободряя перед баталией.

Он заставил проехать обоих всадников несколько времени вокруг, меняя аллюры, оставиваясь и снова трогаясь, наблюдая их и не делая покуда никаких замечаний. Затем приказал им остановиться и со вниманием отнестись ко всему, что они услышат.

– Ваши слабости, судари мои, таковы: для вас неизвестно подлинным образом к чему какой предмет служит, отчего вы и половины выгоды из них извлечь не можете.

– Про трензель много говорить нечего, а то как лошадь замундштучена не малое значение имеет. Не у всех лошадей чувствительность рта одинакова и тот кто всех на один манер мундштучит поступает неразумно. Положение сие я не признаю и покажу вам всю его несостоятельность. Теперь, судари мои, взгляните на маргиналь, который во многих случаях упрощает дело, если лошадь норовистая и любит закидывать голову, что замечу, должно означать что выезжалась она поспешно и плохим берейтором.

Маргиналь бывает трёх видов: охотничий, мертвый и шпрунт. У вас – шпрунт. Он хорош для вашей лошади. Охотничий и особенно мертвый маргиналь опасен, особенно в руках слишком строгого наездника, разумею – не вас, ибо связан с трензельными кольцами и рвет лошади рот.

Новичку я не предложил бы стремяна, пока не уверился бы, что он умеет на всех аллюрах твердо сидеть. В старину все кавалеры держались этого французского правила и вам их пример фаворабелен. Не часто вставайте на стремянах, и когда станете их употреблять, ибо очень многие убили насмерть, падая из этого положения, в то время как падение из седла и при весьма опасных экзерсисиях не столь часто бывает причиной гибели.

Кроме того, тот кто не умеет правильно расположить ноги в стремянах, будет иметь прищуповский вид, кривя спину и шею, и в самом лице не сможет подобающее расположение хранить. Хлыст служит только тому, чтоб приучить лошадь к терпению и о хлыстах долго распространяться резона нет, ибо хорошему наезднику – шенкель и повод, а плохому – хлыст.

Теперь ты, конечно, догадался Фрол, какого представлял из себя кавалера, когда я дал тебе не просто хлыст, но «кошку». Лыщусь, однако, что сколько не бывает тяжек труд отстать от привычек, приставших от первого учителя, ты, с помощью моей, его одолеешь.

– Я забываю и презираю недостойные эти привычки! – пылко воскликнула Налли.

– Батюшка, а скоро мы станем изрядно ездить? – спросил Пётр.

– Смотря по тому, что ты зовёшь «изрядным». Всякий ли может твёрдо и хорошо сидеть в седле? Сие утвердительно. Но не всякий красивым наездником и Адонисом глядеться будет. Для того много месяцев должно трястись на рыси без стремян, на трудных лошадях сильных и капризных ездить, на всех аллюрах и прыжках держать голову прямо, но со свободой, не устремлять взгляд в одну точку, а видеть всё, что кругом делается, плечи и руки вниз спускать и на высоте кушака локтем корпуса касаться. Носок нужно не сильно ставить внутрь, то не только не придаёт никакой привлекательности ногам всадника, но и шенкелю помехой бывает, отчего шпорить приходится с удара. В то время как трогать лошадь должно таким способом.

Волынской лёгким движением каблуков позволил, давно нетерпеливо ожидавшей лошади рысью взять с места.

– И вы извольте тоже проделать, – сказал он оборотясь и встав шагах в тридцати от учеников своих.

Пётр тотчас исполнил что от него требовалось, но Налли сколько не понуждала лошадь двинуться с места ничуть в том не преуспела. Тогда, боясь вызвать смех со стороны зрителей,

она оставила попытки произвести нужное движение ступнями ног и дала шпоры от всей души. Налли готовилась к тому, что лошадь под ней бросится вперёд, но она рванулась вверх, совершив прыжок с четырёх ног.

– Голову ей задери! – крикнул Волынской. Подскакав в тот момент, когда лошадь, сгорбив спину, пыталась сунуть голову между передних ног, он схватил Налли за ворот, чем избавил её от падения вперед через голову лошади.

– Трензель! Ещё трензель, сильнее! Подайся назад! – продолжал он кричать, желая, чтобы ученик его сам вышел из создавшегося положения и в то же время держась в такой позиции из которой снова мог достать до Налли. Но она столько была ошеломлена как норовистостью лошади, так и рывком, которым Волынской водрузил её в седло, что не могла продолжать урок свой. Перепутав поводья, она все усилия свела к тому только чтобы не быть сброшенной наземь.

– Так не годится! – воскликнул Артемий Петрович, хватая за повод Наллину лошадь и принуждая её прекратить свои чудачества, – под тобою кавалерийская лошадь, изрядной выездки, а ты сейчас привьёшь ей дурной нрав. Запомни, что, если ты сделал ошибку, за тобою всё равно непременно должен остаться спор с лошадыю. Лошади очень хитры и всякий раз будут повторять баталию в которой одержали верх. Для первого разу довольно, – добавил он, взглянув ей в лицо, на котором слишком ясно написаны были усталость и сознание неудачи.

– В кавалерии тебе не служить, но *pour etre et paraitre bien en selle*⁶, не превзойдён будешь. Приземистый толстяк смешон, а человек слишком высокого роста неустойчив в седле, и ему необходимо бывает согнуть ноги, чтобы дать шпоры, а то и некрасиво и расстраивает спину и всю посадку. Нет нужды повторять что не все драгунами рождаются. Ещё менее находится таких, кто способен украсить церемониал, и ты – среди них. Разумеется, после того как овладеешь искусством правильно брать с места разным аллюром и останавливать.

– А смогу ли я быть драгуном, батюшка? – спросил Пётр.

– Тебя ждёт иная будущность, – отвечал ему Волынской, целуя его в лоб, – счастлив ты, сын.

* * *

«Здравствуйте государыня-матушка.

Вашими молитвами мы живы и благополучны. Фрол по-прежнему занят своею службою, я по-прежнему имею единственным и приятнейшим занятием составление вам реляций, которые брат не в состоянии найти время и сил изготовить.

Расскажу нашу новость. Господин Еропкин Пётр Михайлович, занят писанием гравюры, представляющей родословное древо дома Волынских. Он показывал мне (ибо Фрол привёл меня на ту пору в дом, где секретарь иностранной коллегии Иван де ля Суда был именинник) свою работу, ещё не оконченную. Внизу чертежа изображены имена и гербы князя Дмитрия Волынского и сестры Дмитрия Донского великой княжны Анны. Этот князь Волынской командовал засадным полком на поле Куликовом и ударом своим переломил ход битвы ко счастливому её завершению. Волынские княжили в Звенигороде, Дмитрове, Рузе, Калуге, Ржеве. Почти все были с стольниками при царях Московских. Михаил Волынской 1567 года стал думным боярином. В роду есть даже свой святой – игумен Троицкого Клопского монастыря под Новгородом, также Михаил, умерший в 1456 году и прославленный многими чудесами. Волынские сражались, командуя полками при князе Дмитрие Пожарском, приняли участие в Земском соборе, избравшем Михаила Романова на царство. Дед Артемия Петровича, также стольник, прославился в литовском походе, отец – с тем же чином состоял при молодых царях Петре и

⁶ Чтоб красиво смотреться в седле (*фр.*)

Иване. Теперешний глава рода, также и даже более предков своих выказал отваги и расчётливости, командуя полками в Северной войне с Карлом в самые юные свои годы. Картина, хотя, как я сказала ещё не совершенно окончена, очень удалась, и Пётр Михайлович подолгу любит своей работою, позволяя разделить сию приятность всякому. Господин Волынской имеет желание чертёж его напечатать и разослать «по России и в другие государства». Сам он теперь не дома, но высочайшей волею послан вторым послом вместе с господином Шафировым в Немиров – город на Польской границе – для мирных переговоров с Турцией. После отъезда его прошло более месяца, когда вдруг Фрол был пожалован нежданною наградою и честью – письмом своего патрона. Я привожу его вам, любезная матушка, от слова до слова, чтобы вы могли порадоваться за сына вашего, как это делала я, плача от счастья и целуя строки письма. Вот они:

«Любезный Фрол.

Душа твоя создана для дружбы – в этом я убеждён теперь, когда так долго лишён её. Вероятно, и ты скучал, не получая от меня писем, но я избавил бы тебя от огорчения гораздо скорее, если б почта была исправна. Это письмо я отправляю с курьером министра иностранной коллегии. Ты конечно, хочешь от меня живописаний окружающих меня предметов. Вот они: предместья Немирова превосходны и украшены лесами. Я изредка допускаю себе удовольствие верховой прогулки, иногда в обществе Шафирова, иногда – Родионова, но всегда – с тобою. Мысль о детях, тем более теперь, когда Родионов, как и я, вдали от них, связана с твоей нелицемерной заботой. Не оставляй меня без уверенности в ней.

Что касается до моих занятий, то вот тебе рапорт самый новый.

Союзники – австрийцы вступили в войну на Балканах. Граф Миних 2 июля штурмом взял Очаков и разорил весь Крым, но скоро тон реляций его изменился.

«Армия не нуждается ни в чём, но климат убийственный помимо 2 тысяч раненых, больных 8 тысяч, они умирают как мухи, и всё от климата». А в другом письме сообщает «... войска тают без законной причины, однако все зажиточные турки в Константинополе уже отправляют лучшие вещи в Азию и считают гибель государства своего неминуемою». По признанию герцога Бирона, Крымская война идёт «не как должно» и он выказывает «склонность к примирению, лишь бы то не повлекло ничего, несовместимого с честью России». Потому мои сражения с австрийской коллегою графом Остейном, не будучи подкреплены русскими пушками, тоже идут не так, как можно было ждать при начале действий нашей армии. Всё же, ласкаюсь, граф Остейн, о ком имею большое попечение, не так мне пагубен встанет, как Миниху воздух Очакова. Австрийский посол очень любезен и приятен в обращении. Я не только говорю с ним о делах, сидя в палатке, но гуляю по берегу пруда. Он вполне разделяет моё убеждение, что турки всячески простираются положить между нами холодность, и в том весь их авантаж состоит. Уверившись, что слова сии не пустая любезность, я отвечал турецкой стороне на предложение оставить России один Азов, что «ежели турки недовольны нашими умеренными требованиями, то мы далее будем войну продолжать. Но ежели пламень расширится, то уповаю на Бога, в будущую компанию турки и сверх Очакова потеряют и тогда труднее им договоры станут». Остерманн в столице, конечно, не может видеть всех предметов точно так, как я из своей палатки, и думает заключить мир

на прежних кондициях. Он согласен со мною в уповании на несогласие в генералитете Порты, в котором тщусь укрепить и графа Остейна.

При таких конъюнктурах, Божьей милостью, нужно ожидать конца переговоров в два месяца или немногим более, а по реляциям от графа Миниха, кои мне много печали делают, чем скорее, тем для империи нашей фаворабельней.

Ты узнаешь, по сим словам, мою страсть, ибо чем бы я не начал, кончу делами, но конечно, не поскуаешь их описанием.

Мои заметки предназначены тебе одному и их никто не должен видеть, если тебе дорого, чтоб я оставался твоим

А.П.»

Видите, теперь, любезная матушка, как много чести и доверенности имеет Фрол. Он не может выразить сколько заключает в душе своей счастья, и обеспокоен только одним – нарушением последнего указания, полученного от своего патрона, ибо он не удержался показать вам письма. Потому умоляю вас сжечь его сего же минутою, а за остальное он вполне спокоен, так как убеждён что вы не вспомните ни строчки о переговорах, как скоро отложите бумагу в сторону. В чём вполне обнадёжена остаюсь дочь ваша, покорная Налли».

Благодаря усилиям Шафирова и Волынского переговоры окончились в октябре, и до этого срока Налли успела обменяться с патроном ещё несколькими письмами, в последнем из которых писала:

«Сиятельный патрон, государь мой Артемий Петрович,

Великодушной заботливости, с которой вы снова обращаетесь ко мне, отвечаю – я гораздо здоровее, чем вы предполагаете, что неудивительно, помня о целительном нектаре, который нахожу в ваших письмах и который пью, разделяя жребий и приятность жителей Олимпа.

Не могу расстаться с величественным зрелищем, картина которого начертана в уме моём известиями из Немирова. Провидение явило России особенную благость, вручив власть отстоять честь её в ваши руки. Теперь вы ниспосланы им для славы русских в Немиров, как прежде – на кровавые поля впереди легионов. Отчего не быть рядом с вами тогда, теперь, вечно? Увы, зачем не обрести мне счастья уберечь вас от пули и ипаги, предательства и обмана, болезни и огорчения. Каких подвигов не совершил бы я?!

Но спешу оторвать свой взор от Немирова, а речь – от сетований, ибо если не найду в себе сил сделать это теперь же, они заполнят не только мне душу, но и бумагу, на которой пишу, и она брошена будет вами в печку с прочими никчёмными реляциями.

Вы говорите, что не имеете доверия письмам сына, страшись что в любви к вам и к вашему спокойствию, они наполнены более вестями радостными, чем правдивыми. Моп General, заверяю вас, они – наши новости – действительно могут именоваться теми и другими одновременно. Пётр Артемьевич под великою тайно разучивает речь на латинском языке, с тем чтоб сделать вам сюрпризу. Для этой же цели я не стану говорить кто составитель её и до чего она касается. Лицусь надеждою в день памяти небесного патрона вашего мученика Артемия Антиохийского и вашего рождения, выслушать её, радуясь вместе с вами и вашими верными клиентами и домочадцами. Анна Артемьевна так мало подвержена слабостям своего возраста и пола, что я удивляюсь вместе с прочими её способности управляться с домом. Здравый рассудок и решимость докончить начатое – добродетели более всего свойственные её натуре, твёрдой и прекрасной, которой подражать тщился бы, если б мог.

Управляющий Московской вашей усадьбы Филипп Боргий, и приказчик Афанасий Глинский прибыли в дом благополучно, и предоставили в канцелярскую новые реляции из которых сделал относящиеся до положения усадьбы экстракты. Прилагаю их к письму.

Вы хотите слышать от меня новости вашего ведомства, но требованием своим наводите на меня страх. Это всё равно, что требовать от кружевницы уметь стрелять из ружья. Впрочем, в предыдущем письме я пытался описать интересующие вас предметы, так как они представляются моему рассудку. Если вы в своей снисходительности найдёте себе что-нибудь полезное посреди моих реляций, то это будет предел моих желаний. Итак, имею сообщить, что введённая вами новая должность итал-директора утверждена. Служащие в гвардии конной унтер-офицеры и придворные берейторы, имена которых были указаны в вашем запросе в сенат, причислены к возглавляемому вами ведомству. Иоганн Кишкель и Адам Людвиг стали вашими клиентами в чине италмейстеров. Прошение о не взимании недоимок с крестьян, отписанных к ведомству, утверждено, но встало дорого. Доклад об ущербе от московского пожара не зачитывался. Об мундирах для конюшенных служителей не имею ничего доложить, кроме того, что Пётр Михайлович Еропкин их рисует, и надеется вам угодить ими. Что касается до моего взгляда, они как нельзя хороши, но только цвет – голубой – непривычен в конюшне. Пётр Михайлович ждёт вас и готовит триумф и лавры. Вообще весь дом, и как мне представляется, вся столица грустят о вашем долгом отсутствии. Лицу себя счастьем, что вы скоро в неё возвратитесь и здесь беседы с вами излечат меня от печали и научат как себя должно держать, чтобы сохранить имя не совершенно ненужного вам Фрола Куicina».

* * *

«Здравствуйте, государыня матушка.

Вашими молитвами Фрол в дому генерал-анишефа хорошо прижился и даже смог исплопотать для де Форса место учителя при латинской школе, устроенной для домашних Вольнского. Потому мы стали несколько богаче, и Фрол шлёт вам десять рублей, которые покорнейше принять просит, а сам не имеет никакой нужды.

У нас совсем настала зима. С крыши конюшни устроен деревянный спуск – жёлоб, залитый водою. Дети Вольнского в ясную погоду любят забавляться катанием с этой горы, которая благодаря высоким с обеих сторон бортам вполне безопасна, или на коньках по льду реки. Фрол часто разделяет это веселье, ибо Пётр Артемьевич так полюбил чтение его, что по долгу от себя не отпускает и привык к его обществу. Старшие девицы бывают большими насмешницами и называют Фрола «братец-писарь», но тоже расположены к нему и угощают апельсинами, до которых он оказался великий охотник. Анна Артемьевна несмотря на свои не полные пятнадцать лет заменяет в доме хозяйку, умна не по годам и отец часто доверяет ей в вопросах до нужд имения относящихся. Она платит ему преданностью, какую можно найти в сердце война.

Мария Артемьевна гораздо менее сестры напоминает дочь Марса. Расскажу один случай, который даст вам верное представление о её сердце. Пётр Артемьевич весьма часто бывает не здоров и генерал, всегда обеспокоенный этим обстоятельством, постоянно ищет способа порадовать чем-либо сына. Однажды, в то время, как Пётр Артемьевич болел горлом, отец его купил у какого-то немца ручного сурка и принёс его в дом. Подарок произвёл ожидаемое действие и очень развеселил больного.

Обе дочери, две воспитанницы, сын и случившийся при них Фрол, развлекавший по своему обыкновению Петра Артемьевича декламациями, принялись занимать необыкновенного гостя. Зверёк был очень забавен, пожимал обеими лапками протянутые ему пальцы, кланялся, беря угощение и танцевал под песенки, извлечённые из музыкального ящика, и кла-

весина, мастерством Анны Артемьевны. Наконец, он стал проявлять признаки некоторой нелюбезности, видимо утомлённый шумным обществом. Пётр Артемьевич, однако, как учтивый хозяин не оскорбился холодностью гостя, но даже изъявил желание поместить его в свою постель. Фрол тотчас взялся исполнять это приказание, но как только он оторвал сурка от пола, тот вонзил острые свои зубы ему в палец. Фрол уронил зверя на пол и с принуждённой улыбкой объявил, что гость, вероятно, почитает себя очень важною персоной и не резонабелен к явной его, Фрола, продерзости. Пётр Артемьевич смеялся над «братцем-писарем», который «столь храбр бывает, что не имеет решимости вторично предложить свою любезность надменному гостю, находя то для себя слишком неблагоприятным».

Мария Артемьевна, как скоро увидела капли крови, выступившие на руке Фрола, расплакалась и воскликнула:

– Сурок, злой сурок! Для чего укусил ты палец доброго господина Куцина? Вот вам, любезная матушка, весь характер Марии Артемьевны.

О себе не знаю, что вам сообщить, кроме того, что здоровье моё очень окрепло. Климат Петербурга ему ничуть не вредит, но напротив того, окрасил румянцем и подарил весёлостью. Каковой и остаюсь покорная дочь ваша, Налли».

* * *

«Здравствуйте государыня-матушка,

Вашими молитвами мы здоровы, а в доме где Фрол служит всё постоянно и учтиво, и надлежит как должно.

Пишите вы, что имеете желание в святочные дни нас посетить и обрадовать снова себя видеть в глазах ваших. Но Фрол от дорожного труда вас избавил и упросил патрона своего отпустить сына любви матери. Потому государыня-матушка, не сомневайтесь его в самое короткое время увидеть и не день или два, но и месяц целый радоваться любезному своему сыну. Сама же я зимнею порою пускаться в путь побоюсь и молю за то мне не пенять, ибо самим вас известно, что с самых детских лет не имею довольно к тому крепости. Касательно того, о чём писали вы с прошлаго почтою. Я не жду и не ищю, чтобы ко мне кто присватался, и откровенно замечу вам, что, если бы кто и вздумал сделать это даже и с состоянием и хорошей фамилией ничего не мог бы услышать от меня кроме «вы не можете быть мужем моим, я не могу любить вас». Не знаю, как изволите вы о сём рассудить, но лыщусь, что главная забота ваша обо мне состоит не в желании, чтоб мне жить, как говорится «по-людски». Нежный мой наставник – сердце, ожидает ещё, а пока этот тихий диктатор молчит, нужно быть ничтожным человеком, чтобы прельститься чем бы то ни было.

Теперь, оставляю эти важные предметы, разговоры о которых вызывают на лице моём признаки душевного волнения, подымаю флёр, которым поспешила скрыть их, и в точности исполняю ваше предписание – рассказать о доме Вольнского.

Он довольно тесен и мог быть убран роскошнее для господина обер-егермейстера его величества. Особенная опрятность – главное его украшение. Им щедро отделан каждый покой, начиная людскою и кончая парадною гостиной.

Семья владельца его занимает семнадцать покоев, включающих спальню хозяина, которая часто служит ему и кабинетом. Она очень просторна, отделана китайским алым атласом по стенам и вмещает кровать, два ореховых шкафа-кабинета с зеркалами и медными подсвечниками, два стола красного дерева, обитый кожей канапе и восемь английских стульев. Тут обычно генерал принимает самых близких друзей своих. Столы, кроме обычных своих украшений: бумага, карандашей в меди, часов, табакерок и икатулок с печатями, имеют сидящими на крышках своих золочёных китайских идиолов, умеющих трясти головами и презабавных. К спальне примыкают три комнаты – два кабинета и столовая, две из них обиты

камкой, а третья – тканными шпалерами. Полки, уставленные книгами, ландкартами, приборами, служащими военному или строительному искусству, внушают убеждение, что находишься в кабинете ученого. Почетное место отводится всякого рода оружию и конскому убору. Я не умею сообщить вам о сих предметах ничего более, кроме того, что они служат образчиками английской, саксонской, турецкой, немецкой, шведской, отечественной работы и изукрашены серебряною и золотою насечками. Угловая зала велика, убрана коврами, привезёнными из Персии, куда генерал был отправлен в качестве посланника. Тут стоит большой каменный стол, кресла, 24 английских стула. На стене висит портрет самого хозяина на полотне в чёрной раме. Именно здесь Вольнской проводит беседы и читает конфидентам свои рассуждения. Множество полотен масляной живописи, среди которых: пейзажи, сцены баталлий и охотничьи, портреты государыни, герцога Бирона с женою, императора Петра Великого и иные – свидетельство любви хозяина их к художеству.

Три светлицы занимает Пётр Артемьевич. Они выглядят очень весёлыми и пёстрыми, ибо обиты шпалерами, изображающими яркие цветы и скачущих охотников. Тут помещаются его стол и конторка, географические карты, зрительные трубы, медные чернильницы, глобусы и клавикорды. Особое место занимают склянки с помещёнными в спирту ящерицами и скорпионами, ибо зоология всегда остаётся любимой наукой Петра Артемьевича. Пять покоев отведено дочерям. В них блеск и свет царят большие, чем в иных комнатах, что достигается обилием зеркал в золоченых рамах, живописными плафонами, кабинетами со стеклянными дверцами. Вся мебель дома прислана представителями английской фирмы «Элизар и Эвенс» дубовая или ореховая. В молельной, которую назову самым роскошным покоем дома, имеются три серебряных распятия с частицами мощей, украшенных финифтью и камнями, три киота, и более двадцать икон, оклады которых изобилуют бриллиантами, изумрудами и жемчугами.

Как я уже докладывала, сей дом на Мойке Артемию Петровичу стал тесен, и он собирается приобрести новое жильё на южном берегу Фонтанки, купив его у генерал-майора Алабердева.

Из всех усадеб Вольнской более всего любит родное Вороново и часто бывает в московском каменном доме, в котором и родился. Мне кажется, если б должность не держала его в столице, он предпочёл бы постоянно в нём поселиться. Сам он человек очень добрый и весёлый, каким редко предстаёт истинное величие, присущее ему в той мере, какую только может вместить душа смертного. Его великодушие не знает границ, и вот вам один из примеров его. Фрол несколько дней был опасно болен, и Артемий Петрович столько был тем огорчён, что не показывал всегдашнего своего жизнелюбия и усердия к делам. Старый адъютант Родионов принялся было утешать патрона своего, но тот отвечал: «Ты страшишься потерять прилежного помощника, а я, зато – верность, постоянство, благодарность, каких в такой полноте не застать мне никогда более на этом свете».

Ежедневно, дом господина Вольнского осаждают толпы просителей с самыми разными нуждами, лица которые были обмануты в надеждах своих на правый суд, попали в несчастье. Многих, очень многих спас он от отчаянья, разорения, гибели. Упаси Бог прогнать кого-либо от его порога! Такой поступок Артемий Петрович вменил бы любому своему клиенту или дворчанину в преступление самое жестокое.

Впрочем, оставляю Фролу отвечать далее на все вопросы, включая и те, что вы можете сделать о покорной дочери вашей

Налли».

* * *

Приближалось Рождество. Всё в доме предвещало приход его. Обычный строй дел почти совсем остановлен был за отлучками к церковным службам говельщиков, которыми были почти все люди Волынского.

Сам он в сочельник с семейством отправился к обедне в Петропавловский собор, приказав, чтобы к его возвращению дом был готов к ожидаемому назавтра балу.

В праздник, разумеется, никто снова не работал. Всем выдано было жалование, а некоторым – подарки. Сидя после обеда в канцелярской, Налли похвасталась перед, ставшим совершенным её приятелем де Судой, шёлковыми перчатками, а он в свою очередь – сборником сочинений Тредьяковского, которого был большой поклонник. После декламации нескольких наиболее удачных, по мнению де Суды строф, он признался, что и сам пробует сочинять и, ободряемый уверениями Налли найти в ней благосклонного зрителя, произнёс:

– Тредьяковский тем только не хорош, что любовный стих его крайне путан и тяжёл, так что читывая его, я воскликнул в уме своём:

«О, Слог Любви, будь прост и ясен
Одним восторгом ты прекрасен
Витийства тлен оставь,
Не изощрай ни ум, ни страсть
Не делай из богинь девице
Ты примера
Не вопияй «Моя Венера».

– Это лучше Тредьяковского, право лучше! – воскликнула Налли в восторге от остроумия Ивана, – я никак не мог бы составить ничего подобного. Вот тебе мой совет – предстать собственную оду Артемию Петровичу, он доволен будет.

– За что я более всего люблю тебя, Фрол – так это за своё чистосердечие. Ты столь прост и участлив в пожелании добра, даже и тем, кто, кажется, своим успехом твою фортуна задеть могут, что и брат родной не мог бы выказать большего.

– Что в том странного? – отвечала Налли, пожав плечами, – не знаю, что за причина к похвалам твоим, разве сам ты злодей, разящий всех направо и налево при первом подозрении в нефаборабельности тебе?

Иван готовился возразить, но тут в канцелярскую вошла толпа лакеев во главе с Родионовым, который объявил, что все вещи из канцелярской нужно вынести, ибо покоев свободных не хватает и гостям станет тесно.

– Английский кабинет – к Петру Артемьевичу, обе конторки – ко мне, стол – в малый покой, – распорядился он к лакеям.

– Иван, бери мемориалы, а вы Фрол – чернильницы и последний экстракт вами неоконченный, и несите наверх в кабинет его превосходительства.

Иван Родионов упорно оставался с Налли на «вы» и обращался с той учтивой холодностью, какую встретил её появление на дворе Волынского.

Из окон уже слышался шум подъезжавших экипажей, крики фореиторов и гайдуков. Лакеи замерли на местах своих, другие – бросились к парадному, чтобы помочь гостям расстаться с шубами.

Хозяин, при шпаге, пожалованной ему императором Петром Великим за подвиги во время Полтавской баталии и усыпанной бриллиантами, вместе со старшей дочерью стоял на верху лестницы, ожидая приветствовать приглашенных лиц. Налли любовалась позументами

и камнями, переливавшимися на платьях обоих Волынских и, особенно, лицами их, ничуть не терявшими от блеска драгоценных сих соперников.

Встретив взгляд патрона, который со своей стороны следил за её подъемом по лестнице, она прочла в нём желание услышать от неё, ставший за привычку, любезный привет, и, дождавшись, когда их разделяло не более трёх ступеней, промолвила:

– Votre Excellence...

В ту же минуту она ощутила толчок сзади, потеряла равновесие и споткнулась, рассыпав бумаги. Чернильница, ударившись об пол, расплескалась, украсив чулки Волынского пятнами. Анна Артемьевна отшатнулась. Волынской вспыхнул.

– Виноват, ваше превосходительство, – некстати закончила Налли, подбирая бумаги.

– Кто натирал лестницу? Кто приказал сделать из неё каток? – приступил хозяин к Родионову.

– Дворецкий распорядился, – отвечал тот, совершенно потрясённый таким оборотом.

– Счастлив он, что мне не до того, – проговорил Волынской и побежал заменять испорченные части своего туалета.

– Грех вам, Иван Васильевич, – шепнула Налли, – хоть ради праздника повоздержались бы. Для удовольствия вашего, куда лучше меня бы чернилами изукрасили, а теперь огорчение Артемию Петровичу сделали. Чулки, между делом, десять рублей стоили. К чему такая неприятность, ведь вы его любите?

В лице Родионова мелькнуло удивление и что-то вроде душевного расположения, но тотчас выражение неприязненной учтивости вернулось с удвоенной силой, и старый секретарь отвернулся.

Сперва гости вместе с хозяином и детьми его заполнили молельную с прилегавшим к ней покоем (ибо молельная не могла вместить всех) и слушали праздничный с пением «Яко с нами Бог» и водосвятием молебен.

Волынской пел вместе с девицами. Пётр Артемьевич стоял подле отца, не умея разделить сего удовольствия по причине не оставляющей его боли в горле, но с видимой радостью, наблюдая происходящее. Затем возглашалась многолетия государыне, всему царствующему дому и хозяину с чадами и домочадцами.

Обеда как такового не предполагалось, но в двух примыкавших к большой зале покоях расставлены были столы со всевозможными закусками, напитками и десертами, долженствующими подкреплять силы всех того желающих. Иван де Суда и Налли – младшие многих чином и годами, чувствовали себя несвободно и держались ближе друг к другу.

– Василий Никитич Татищев, князь Урусов, президент коммерц-коллегии граф Мусин-Пушкин, Новосильцев и Нарышкин – оба сенаторы, князь Черкасский, – называл Иван де Суда вельмож и указывал их Налли.

– А обществом этих двоих его превосходительство дорожит особо и все что может быть пригодным крепости сей дружбы – фаворабельно, – прошептал Иван в то время как мимо них проходил человек годов около шестидесяти, приятной наружности, высокого роста и отменной учтивости, которую расточал перед двумя дамами, разделявшими его общество. Оно, несомненно, доставляло кавалеру приятность, которой он не скрывал и для которой оставался глух к ухищрениям хозяина вовлечь его в разговор.

– Граф Миних, – пояснил де ля Суда. Налли с удивлением услышала имя, стяжавшее славу великого Александра и могущее обращать в бегство легионы.

Второй персоной влиятельной для фортуны Артемию Петровича оказался человек средних лет, не особо запоминающейся наружности.

– Кабинет-секретарь государыни Эйхлер.

Тут же были, не раз виденные Налли в доме Волынского, Еропкин, Хрущов, Соймонов, Румянцев, Василий Гладков. Последний незадолго до её появления также принят был секретарём, но имея по своему офицерскому званию ещё другие обязанности, редко бывал в доме.

– Кто этот молодой человек, одетый шегольски и вертящийся возле дочерей его превосходительства?

– Медикус обер-камергера Дитрихманн, – отвечал ее Ментор, – остерегитесь назвать его «вертящимся около дочерей его превосходительства», перед глазами последнего, или самого предмета вашей насмешки. В первом случае несдобровать Дитрихманну, во втором – вам самим, ибо этот немец, по виду простодушный и обаятельный, имеет коварную и злую душу, как и патрон его.

– Последнее замечание ваше также предлагает мне остеречь вас, и я плачу вам тою же заботою, – отвечала Налли.

В то же время музыканты, помещавшиеся за специально сооружённой особой изгородью, получив знак показать своё мастерство, звуками, принадлежащими таланту Доменико Далольо, подали начало балу.

Налли со вниманием следила за движениями танцующих, стараясь запомнить фигуры, выполняемые кавалерами и боясь в любое мгновение быть принуждённой повторить их. Опасения её оказались не напрасны. Как скоро очередь ангажировать настала дамам, перед ней очутилась княгиня Кропоткина. Поминутно путаясь ногами и краснея, Налли ожидала от своей дамы изъявлений неудовольствия, но уже несколько времени наблюдая на лице её выражение любезности и участия, осмелилась пробормотать:

– Простите, сударыня, если я не решился уклониться от лестного мне ангаже. Теперь, конечно, вы сожалеете о моём малодушии.

– Напротив, любезный Фрол Александрович, я не только не сожалею о поступке вашем, который вы называете малодушием, а я – храбростию, но и ангажирую вас в следующем моём выборе.

Таким образом Налли танцевала не однажды, узнала, что княгиню зовут Катерина Алексеевна, и столько преуспела в преподанном ею уроке, что уже подумывала предложить менуэт младшей дочери Волынского, когда танцы окончились и начались игры в фанты.

Первыми жертвами опасной этой забавы пали Румянцев, и Нарышкин принуждённые изобразить пантомимую «отвергнутое признание и смерть несчастной особы, наступившей вследствие сей жестокости», затем их сменил Дитрихманн и выделывал артикулы ружьём, чем заставил смеяться всех, в особенности Миниха и старшую дочь Волынского – Анну.

Княгиня Урусова усажена была среди залы на стульях и подвергнута пристрастному допросу по следующим пунктам:

- Назовите из настоящего собрания персону наиболее любезную вам.
- Назовите из настоящего собрания персону, наименее пользующуюся вашим расположением.
- Назовите из настоящего собрания персону, которая по убеждению вашему наименее к вам расположена.
- Назовите из настоящего собрания персону, которая по убеждению вашему сердечно вам предана.

Оставив княгиню в слезах, ибо дознание производилось со знанием дела и, нисколько не взяв веры словам её, нашло в ней вину в «запирательстве со злым умыслом», все обратились к наблюдению за исполнением князем Черкасским персидского танца. Музыканты заиграли сочинение Дмитрия Кантемира, преисполненное османскими мотивами. Впрочем, приёмы танцующего сводились к перемещению его грузной фигуры вокруг своей оси с одновременным потрясением сжатыми кулаками, что вероятно, должно было знаменовать, злобность дикого

азиатского народа, и не вызвали особенного участия в зрителях. Молодая Хрущова трепещущей рукой принуждена была в небольшой рюмке смешать все предлагаемые гостям напитки и опрокинуть полученное содержимое в рот. Следующий черёд привлечь к себе всеобщее внимание выпал Налли. Фант, полученный ею, приказывал «сложить и исполнить оду кумиру». Налли вышла на середину залы и остановилась, прижав одну руку к груди, а другую заложив за спину.

– Блажен он, ибо знает: жизнь – мгновенье
Умом достичь пытается вершин,
Ему готова честь под райской сенью
Христу он станет брат иль сын

Налли начала оду чужими стихами и нетвердым от волнения голосом – ведь, среди прочих лиц, внимал ей любезный Волынской.

Кумиров сон,
Духов полёт
Жизнь, смерть вселенной
Перед одним его дыханьем –
Тленны.

Maecenas, atavis edite regibus

О, et praesidium et ducle decus meum!⁷, – неожиданно пропела Налли латинскую фразу, не упустив пленить слушателей красотой и выразительностью голоса. Румянец безграничной преданности разливался в лице её.

Чудесы гор, полей и рек,
Небес светила
Возмочь не могут превзойти его красы
Душе не милы.

Прорезать небо,
Сбросить в бездны чудищ ада,
Для одного его плезира –
Вот отрада.

Каждый новый стих завершался пением указанной строфы из Горация. Недостаток искусства стихосложения с избытком возмещался одушевлённостью исполнения и милыми достоинствами чтеца, которые совершенно покорили собрание. Казалось воздух кругом звенел и дрожал от необычайной для его материи энергии. Самый эфир его груб в сравнении с ней.

Награды не хочу
Иметь взамен,
Будь твой покой,
Удел благословен!

⁷ О, царский правнук, меценат! О, мой покров и украшенье! (лат.) Гораций – «Ода к Меценату»..

Латинское пение оборвалось, взлетевшим, и словно рассекшим плафон, *regibus*. Казалось – и довольно. Но Налли, не в состоянии остановить хвалы любезному Волынскому.

Блажен чьи слезы не напрасны,
Чей кроткий дух разносит мир,
Кто правды глас различит ясно,
Кто милость льет как эликсир.
Чисто души его зеркало,
В нем мысли темной не бывало.
Кого поносят люди злы и гонят в чуждые доли.
Червленный пурпур и венец ему готовит наш Творец

Налли переводила дыхание, в глазах её стояли слёзы. Успех был необыкновенным. На несколько минут игра была забыта. Все – и особенно дамы – выражали восторг свой мастерству декламатора и уверенность, что степень его позволяет Налли представлять на сцене лучше итальянцев и французов. Княгиня Кропоткина, более прочих, настаивала на этой мысли и предлагала собственный свой театр, устроенный по французскому образцу и нередко отмеченный посещением царевны Елисаветы.

– Я отгадала тайну кумира вашего. Вас пленила сама Минерва. Сколь счастье улыбается сей богине, и, верно, она готова променять своё бессмертие на вашу привязанность, – говорила Катерина Алексеевна, в то время как Налли благодарила её за снисходительность и отклоняла сделанное предложение, извиняясь недосугом. Княгиня продолжала убеждать её.

– Отдайте мне моего секретаря, он слишком молод и, подобно Телемаку, должен скорее покинуть очарованный остров Калипсо, куда, волею Фортуны, ладья его была брошена бурей, – проговорил Волынской.

Княгиня вспыхнула.

– Лшусь надеждою, я ни в малой степени не напоминаю вам, любезный Артемий Петрович, коварную сию нимфу, а мой дом – её западню?

– Помилуйте, за что вы столь суровы к почтительным словам моим? Они только выражали заботу о сём юноше, если угодно, – моём паже, которого дух ещё слаб для испытания восторгами собраний. Он и по сию пору ещё не покинул неги сих лживых объятий. Прав ли я, Фрол?

Как снести любезные его взоры, исполненные отеческой заботливости и сердечного тепла? Как поразили они Налли! Она едва удерживается вымолвить ответ самый нежный, трогательный, погибельный для ее тайны. С прерывистым вздохом он подавляется в самых устах. Глаза, слишком красноречивые – потуплены.

– Молчание, сударь, есть прямое признание вины. Вы вполне изобличены, – говорит Волынской, улыбаясь, и отходит от нее.

Игра возобновилась.

Налли во весь вечер была сама не своя, так что заставила смеяться де ля Суду, который пенял ей на рассеянность и уверял, что на вопрос его «с чем изготовлен пирог», который Налли держала в руках, но позабыла попробовать, она отвечала: «Не знаю, верно с какой-нибудь дрянью». «Что если бы повар наш Иван Артемьевич услышал? А если бы сам хозяин знал, как вы расхваливаете его угощение? Нет, Фрол, вами решительно завладела Минерва, о которой упоминала княгиня Кропоткина».

Налли не слыхала его. Восторг, которым дарит ее, сам того не зная Волынской, так упителен, грусть так остра, счастье так туманно.

Слезы все еще выступают на глазах ее – о чем – знает только Господь, сама Налли не может назвать им причины. Но необходимо скрыть следы волнения, не личащего юноше.

Довольно того, что всем нынче убедиться – секретарь Кушин изрядно чувствителен. Налли находит сил говорить с де ля Судой, Гладковым, Еропкиным, но следит одного Волынского.

Ей впервые в этот день довелось наблюдать его в обществе дам. Как она заранее предана той, которой Волынской вздумал бы подарить своё расположение! Но она не может сыскать её.

Артемий Петрович слыл прекрасным кавалером, но, на глаза Налли, относился к дамам так же точно, как к другим приятным развлечениям в свободные часы – картам и бильярд, позволяя себе увлекаться первым удовольствием не более чем двумя другими. Все, что могло иметь имя ветрености, порока, двулчия было ему противно. Ото всего что ни дышало чистосердечием и великодушием он отворачивался. Если Волынской и принуждал себя к осторожности, скрытности, лукавству – только для успехов на поприще государственной службы. Но и тут злокозненные хитрости и бесчестные приемы столько претили ему, что нередко терпеливо подлаживаясь к ним несколько времени, он вдруг, без всякой видимой для своих противников и соратников причины, давал волю негодованию. От этой причины Артемий Петрович почти не имел «нужных» друзей. Одевать личины на сердце, притворяться в его привязанности, он уж совсем не желал. «Фаворабельные» Миних и Эйхлер стали гостями Волынского оттого, что оба они, и второй – особенно, снискали его уважение, не были искательны к графу Остерманну – главному противнику всех его проектов.

Тут Налли вполне убедилась, сколь много подарило её провидение, позволив стяжать дружбу Артемия Петровича, на которую никогда не могла бы рассчитывать, будучи в дамском уборе – убогом или роскошном.

Красноречие Волынского было незаурядным и в соединении с другими достоинствами легко побеждало в баталиях самых разнообразных. Любуясь оживленною беседой его с Минихом, которого внимание он таки взял при помощи осады, Налли припомнила слышанные ею разговоры о том, как её патрон недавно был избран сторонниками брака принцессы Анны и принца Брауншвейгского, для переговоров с противящейся невестой. «Вы на то меня привели, что замуж иду за кого не хочу!» – встретила она его гневно, но через недолгое время настойчивостью, обходительностью и разумностью доводов побеждена была. Обещание отдать руку принцу и отказать сыну Бирона Петру принцесса дала, изъявляя уже более покорности, чем досады, и в благодарность получила от Волынского обещание научить её, как правильно ласкаться к семейству герцога, чтобы заручиться если не расположением его – сего после отклонения с ним породниться нельзя было предполагать – но хотя лояльностью.

Не был за тайну Налли и успех Волынского в переговорах с шахом Гуссейном, которого удалось ему склонить на сторону России. Победа сия была тем более знаменита, что одержавший её посланник был молод и неопытен, и доставлена она была более его талантом, чем иными причинами.

Лакеи принесли ломберные столы, и гости занялись модною тогда игрою в марьяж и квинтич. За одним из столов понтировал Волынской, за другим – друг его граф Платон Иванович Мусин-Пушкин. Игроки подкреплялись кофеем, и не покидали радушного хозяина до поздней ночи.

* * *

«Здравствуйте, государыня матушка.

Вы просите оповестить вас о «правительствующих особах» и тем обнаруживаете свойство провинциального жителя, полагающего, что поместиться в одном городе уже достаточно для свойства с первыми персонами.

Я должна разрушить это мнение, как самое неверное, сообщением, что чин Фрола слишком незначителен, чтобы он мог сообщить вам что-либо, исключая имен и чинов тех лиц, что бывают в доме где он служит. В нем не бывает сильных столкновений, не услышать

колких разговоров, не производится непрерывной борьбы под покровом приличия и учтивости, как это часто происходит в самом высоком обществе. Посмотришь на него ближе – видишь, сквозь флер простой и прямой старины, изрядно и с большим вкусом изукрашенный модными блестящими нитями, нечто превышающее природу человеческую. Так, когда глядим в алтарь, прозреваем не только жертвенник, покров и, стоящие на них, священные предметы, но и величие, благость, нелицемерное правосудие, кротость. Я полагаю, матушка, вам не требуется указать причину сему, она для всякого очевидна, и потому, я не стану продолжать слова о доме и спущусь в сад. Он очень велик и вмещает в себя не только французский парк, но оранжереи, огород и плодовый сад. Та часть его, что не выходит на реку, служит излюбленным местом прогулок господину Вольнскому, и прозвана им *courtille* (полисадник, маленький садик).

*В тумане слез, печалью повитый
Я в этот сад вхожу, как в сон забытый*

Не пеняйте мне за вирши, любезная матушка, до которых, помню, вы не охотница, но они приходят мне на мысль, при взгляде на, избавленные от снега, но еще не украшенные зеленью, ветки. Они спят еще, но готовы пробудиться, легко вздыхают и наполняют эфир чудным ожиданием. Вместе с ними, и я, будто жду, Бог весть чего. Нынешняя оттепель, очарованием своим, напоминает весну, которой, конечно, нельзя еще ожидать в начале февраля, и обманывает саму натуру. Померанцевые, лимонные, размариновые и иные обитатели оранжерей, оживают. Недавно, возвращаясь, подстриженными аллеями, в свое жилище, Фрол заметил опухшие почки вербы. Это радостное напоминание Светлого Праздника было столь трогательно, вечер так тих и пленителен, что Фрол, придя в какое-то упоение, не слышал звука шагов, и был, внезапно, пробужден от грез своим голосом господина Вольнского:

– В чистый понедельник уже и верба – как счастливо.

Фрол, быв потрясен необыкновенностью встречи с патроном своим с глазу на глаз, вместо ответа пробормотал какие-то слова, которых и сам не мог бы разобрать. Он признался мне, что был точно плененный – не мог ни бежать, ни твердо стоять на месте, и радовался сумраку, отчасти скрывавшему его смущение и трепет, которые овладели им столь сильно, что патрон мог отнести их на предмет какой-либо утаенной вины. Но и того, что можно было заметить, оказалось довольно, чтобы Артемий Петрович осведомился у брата «здоров ли и не терпит ли какой обиды»? Предоставляю вам самим, любезная матушка, по этому вопросу судить, сколько жалуется господин Вольнской Фрола, и сколько последний чувствовал признательности, которую и спешил выразить своему патрону.

На том их свидание кончилось, но с того дня, Фрол, более прочих деревьев, насаженных в парке, полюбил ту вербу, рядом с которой говорил с Артемием Петровичем.

А близ нашего родного жилища, цветет ли она уже? Лыцусь услышать ответ ваш: «Да, и пышной обычного, к счастью всех обитателей его, не исключая и покорной дочери моей Налли».

* * *

Подошла весна. Двор государыни по желанию её перебрался в Москву. Дом, подаренный по завещанию Фёдором Матвеевичем Апраксиным императору Петру II и прозывавшийся между жителями Петербурга «дворцом зимним» опустел. К новой зиме государыня распорядилась по-модному отделать его и заложить рядом ещё новый, соединённый с прежним покоем. Генерал-прокурор должен был следить за сею работою и поторапливать архитектора, ибо Расстрелли весьма нуждался не только в исправном снабжении камнем, чугуном и прочими мате-

риалами, но и в неослабном внимании за их расходом, потому что порою не умел его сообразить.

На светлой неделе Фрол с сестрою свиделись наконец с Елизаветой Алексеевной. Свидание вышло радостным. Не только весёлый вид детей и здоровье их делали счастье матери, казалось и вся природа вторила за сердцем её. Вокруг родного крыльца гуляющие курицы уже выклёвывали из тёплой почвы, не вполне ещё пробуждённых после долгого покою, лакомых жителей подземных. Тропинка, по которой Налли с Фролом более года назад пробирались к реке, чтобы встретить поезд казанского губернатора и судьбу свою, поросла мать-и-мачехой и, совсем просохшая, словно приглашала вновь увлечься по ней следовать. С сельской колокольни то и дело слышался нестройный звон, устроенный всяким желающим оповестить о празднике.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.